8с(АлТ)
Ч 726

В. ЧИЧИНОВ

АДРЕС ПОЭЗИИ — ГОРНЫЙ АЛТАЙ

ГОРНО-АЛТАЙСК 1976

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач _____

олиграфкнига».

-258972-

8с(Алт)
Ч-726.

В. И. ЧИЧИНОВ

Адрес поэзии — Горный Алтай

ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА · 1976

ОБ АВТОРЕ

Чичинов Валерий Иванович родился в 1936 году в селе Чепош Элик-манарского (ныне Шебалинского) района. Детство его прошло в селе Анос. Окончив школу, в 1956 году поступил в Горно-Алтайский педагогический институт, после окончания которого посвятил себя журналистике и педагогической работе. С 1974 года заведует сектором литературы Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. В данное время — ученый секретарь института.

В. Чичинов со студенческих лет активно участвует в литературной жизни области как критик, исследователь литературы. Его статьи часто появляются в периодической печати и литературно-публицистических сборниках.

Первая книга В. Чичинова об алтайской литературе — «Путь молодой литературы», — написанная в соавторстве с С. Каташом, вышла в 1973 году. В этом же году увидела свет составленная им хрестоматия «Алтайская литература». Его перу принадлежит также учебник алтайской литературы для 7-го класса.

Чичинов В. И. — член Союза журналистов СССР.

0 258972

Горно-Алтайская областная библиотека

18 - 36/52

АЛТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Диалог о путях развития и основных тенденциях современной алтайской поэзии ведут алтайский литературовед В. Чичинов и русский поэт и критик А. Прийма.

В. Чичинов. Давайте сразу договоримся вести разговор об алтайской литературе без извинительных скидок на молодость ее и сопутствующие, как иной раз — и справедливо! — считают, молодости сей «юношеские огрехи несмелого пера». Ранее мы, бывало, делали подобные скидки, а ныне же они не нужны и вот почему. Мне, коренному алтайцу, посчастливилось наблюдать движение, поступательное развитие литературы этой, так сказать, изнутри, и есть у меня, я думаю, полное право вовсе не стороннего наблюдателя сразу же, «во первых строках» нашего диалога, охарактеризовать тенденции, наметившиеся в алтайской прозе и поэзии последних лет как переломное в своем роде, как переходные от поры, где-то еще ученической, где-то «юношеской», к поре зрелого осмысления окружающей действительности. Иными словами, в алтайской литературе вообще и в алтайской поэзии в частности именно в последнее — подчеркну это еще раз — время с невиданной доселе силой проявила себя идея общего стремления небольшого народа идти вровень с веком, вровень с другими народами нашей многонациональной страны. Наметились в поэзии определенные рубежи: завершился во многом, на мой взгляд, этап количественного накопления ее, наступил этап накопления качественного.

А. Прийма. Добавлю к этому, как раз «со стороны» взглянув на нынешнюю литературную ситуацию, сложившуюся в Горном Алтае, что в алтайской литературе поэзия сегодня — феномен наиболее достойный...

В. Чичинов. Конечно. И сейчас мы уже не можем отрицать ее тематического и жанрового разнообразия. Каждый поэт, активно ныне работающий, имеет свое, неповторимое лицо, «певческий» голос. И все-таки, разнясь между собой в каких-то стилевых, тематических нюансах, будучи отмечены всегда «лица необщим выражением», поэты наши едины и едины все-

гда в главном: в стремлении многопланово и правдиво отображать жизнь героя наших дней, его духовные искания, идейный и нравственный потенциал, освоить новые измерения жизни алтайского народа во взаимосвязи ее с жизнью всей советской страны.

Тут нужно сразу заметить, герой-современник вовсе не случайный гость в нашей поэзии. Его думами, исканиями и стремлениями проникнуто каждое стихотворение, выходившее из-под пера алтайских поэтов десять-двадцать ли лет назад... Но вот специфика развития поэзии в последние годы позволяет глубже понять особенности характера его, героя-современника нашего, обрисовать его не чуть заметными штрихами, а крупными мазками, показать вечно меняющийся его облик, неустанную борьбу героя за красоту жизни и за красоту человеческих взаимоотношений, многомерный мир чувств и увлечений его.

Что же касается до нравственных и духовных убеждений и стержня характера героя, то их, по-моему, раскрыл Б. Укачин в стихотворении «Путь язычника-алтайца»:

...Я — алтаец, человек древний!
Так с чего же это я буду
Петь распятому Христу гимны,
Магомета почитать, Будду?

Ведь они передо мной — дети!
Без богов самим собой ставший,
Поклонился я горам, рекам
И огню — они меня старше.

Я — алтаец, человек древний!
В нашем веке дав коню шпоры,
Перепрыгнул я веков бездны,
Перепрыгнул я эпох горы...

(Перевод И. Фонякова)

Вот именно, «перепрыгнул», совершил скачок от необычайно тяжелой, изнурительной жизни, изображенной в начале века М. В. Чевалковым, к упорядоченному и, главное, осмысленному — с конкретными целями и до предела выкристаллизовавшимся конечным идеалом — бытию сегодняшнего дня. А в рамках нашей беседы — это скачок от количественных характеристик к характеристикам качественным в области духовной жизни, к вдумчивому осмыслению реальности. Алтайский поэт сегодня уже в полный голос заговорил «о времени и о себе», заговорил куда более квалифицированно... Создание полно-

кровного образа нашего современника — вот главное завоевание алтайской литературы сегодняшнего дня!

В этом сила молодой алтайской поэзии, главная цель ее творческих поисков. Бескомпромиссный и цельный лирический герой ее твердо стоит на родной земле.

А. Прийма. Извините, но у меня создается впечатление, что, выдвигая весьма смелую гипотезу о некоем, чуть ли не разовом скачке, вы подразумеваете здесь и скачок, «переброс» человека из сферы повседневных житейских трудностей, ошибок (ну, а как же без ошибок-то?), закономерных в период всякого поиска, неудач, вдвойне горьких, потому что они рождаются не от ложного мудрствования, а в процессе интенсивного поиска нового. Вот, например, стихи, которые вы процитировали явно сочувственно... Они же дидактической похвальбой отдают, юной, кстати сказать, отроческой удалью этакой. «Бескомпромиссный и цельный» «твердо стоит на родной земле...» — все правильно, все верно. Но наряду с этим никак не следует забывать и о том, что сегодняшние будни лирического героя алтайской поэзии по-прежнему, как и в годы, по вашей терминологии, накопления количественного потенциала, наполнены и заботами, и обыденными житейскими хлопотами, и трудностями. Среда, окружающая героя, по-прежнему, «сопротивляется» ему.

Вот почему герой этот, если судить по прочитанным мною книгам алтайских поэтов, вовсе не похож на тот однозначный, глянцевый, простите, вариант его, который предлагает нам Б. Укачин в качестве конечного варианта, эталона. Да, он цельный, да, бескромпромиссный, но и непрерывно развивающийся, а всякое развитие, в том числе и становление характера человеческого, идет далеко не всегда по накатанной дорожке. Оно имеет и, как правило, оно же и разрешает свои трудности.

Иное дело, что рабочая или, как чаще нынче именуют ее, производственная тема, всегда бывшая в ходу у алтайских поэтов, решалась ими раньше в несколько обедненном плане. Как отмечали не однажды критики, в том числе и вы, Валерий Иванович, персонажи подчас даже крупномасштабных произведений, поэм оказывались часто скучно-безликими, удручающе похожими друг на друга людьми-схемами. Лишенные личностного начала, функционирующие лишь в ежевых рамках производственной заданности своей, типажи эти не оставляли художнику места для углубленного изучения их характера. В стихах часто жили на диво жизнерадостные работники-бодрячки, на все руки мастера, а вот личностей — увы! — не было.

Не то, согласен, теперь. Герой, если позволительно так выразиться, теперь решительно обогатился самим собой, «наполнился», оброс характером, он действительно стал героем поэтических книг. Из статичного объекта описания, чья жизнь ранее чаще всего лишь констатировалась, он стал деятелем, направляющим стиховой материал изнутри. Герой из монумента «человека-схемы» превратился в рядового, жизненно правдивого персонажа, как это мы видим в стихотворении Эркемена Палкина «Чабан»:

Он привык подниматься в горах до рассвета,
Мог под кедром, бывало, прозу переждать.
И ни разу не думал о том, что за это
Будет в будущем кто-то его награждать.
Труд был жизнью самой, что вовек не стареет,
Труд был солнцем вторым...

(Перевод И. Фонякова)

Нет, не описывает поэт, не наблюдения свои в реестрик заносит, но, как видите, делает попытку проанализировать — не прокомментировать, а проанализировать! — размышления хозяина горных пастбищ, пастуха. А вот другие стихи, в стилевом плане весьма напоминающие цитировавшиеся вами строки Б. Укачина. Принадлежат они перу А. Ередеева:

Я плотник, что надо,
Загар — по плечу.
Топор как баллада,
Когда наточу.
Лихим перестуком —
Своим языком
Окрест повествует,
Что строится дом...
Я плотник, что надо,
В мозолях рука.
Топор, как награда,
Есть сила пока.

(Перевод И. Фонякова)

Здесь — аккуратненькая констатация, там, у Эркемена, раздумье; здесь — стихи, несущие минимальную эстетическую, да и аналитическую нагрузку, к тому же, не стихи, а так... исправное литературное упражнение на заданную тему. Там — сама жизнь, «тема». С одной стороны, «ежедневному вечному солнцу сродни труд был солнцем вторым», а, с другой стороны, во главу угла ставится курортно-туристское «загар — по плечу». Чувствуете разницу, а? Мне, во всяком случае, куда ближе человек думающий, воспетый Эркеменом.

В. Чичинов. Палкин — один из интереснейших наших поэтов. И уж коль коснулись Вы темы труда, замечу, что в стихах этой теме как бы сопутствует постоянно, пронизывает ее насквозь мысль о диалектической взаимосвязи прошлого и настоящего. Процесс труда осмысливается не как одноразовый акт, а в его исторической ретроспекции.

Для алтайского народа эта мысль в обнаженном виде выразилась в том самом экономическом и культурном скачке, о котором я говорил выше. Однако скачок вовсе не подразумевает забвение национальных традиций, не отрицает прошлого. Думающие поэты, вроде Эркемена, коим не один только сиюминутный «загар — по плечу», помимо всего прочего, обладают и хорошей памятью. Память, сдобренная семенами уважения к деяниям отцов, всегда в их рабочем арсенале. Так, А. Адаров видит в прошлом истоки сегодняшнего дня:

О Алтай мой,
с белых твоих вершин,
От застывших стен ледяных белков
Я,
твой в вечные цепи закованный сын,
Над тобою склонялся столько веков!..
И заброшенный в дымные юрты судьбой,
Пел я братьям моим,
и враги мои
Ничего не могли поделать со мной.
Так старался я братьям моим помочь,
Чтоб сумели злую судьбу превозмочь.

(Перевод Е. Храмова)

«Превозмочь судьбу» помог, как пишет о том Адаров в другом стихотворении, человек по имени Ленин. Отсюда одно из главных направлений в современной алтайской поэзии — ленинская тема. Вообще-то говоря, с нее и началась по существу алтайская поэзия, и поэты вновь и вновь возвращаются к ней, находя в дорогом и близком образе вождя зримые черты настоящего. И вот что особенно интересно: стихи о Ленине в корне изменили устоявшиеся в сознании народа представления об идеальных образах героев-богатырей. «Под ясным небом голубеют дали. Идет весна в веселом перезвоне. Он, как живой, стоит на пьедестале и держит солнце на своей ладони» — пишет Адаров о Ленине, как о самом современном из современников, как о человеке, «постоянно присутствующем в горах Алтая». Сближая образ вождя с образами былинных богатырей, алтайские поэты умело пользуются и соответствую-

щим языковым арсеналом: вводят, к примеру, в поэтическую ткань эпитеты, в контексте алтайского языка известные под названием «народные»: «самый смелый», «самый мудрый», «самый скромный»...

Нисколько не сомневаюсь в том, что алтайская поэзия, опираясь на полувековой опыт своего развития, на лучшие идейно-художественные достижения всей советской литературы, еще обогатит Лениниану новыми интересными произведениями. Обогатит завтра и тем более послезавтра: ведь речь идет, напомню, о новом качественном этапе ее становления. Диалектика прошлого и настоящего, историзм алтайской поэзии — все это возникло на прочных связях нашего народа с братскими народами СССР. Как прошлое и настоящее, так и национальное и интернациональное тесно переплелось в стихах...

А. Прийма. Современная алтайская поэзия и мне напоминает в чем-то антологию дружбы. Мы видим мир, и мир видит нас. «Всемирная отзывчивость» — мне она симпатична.

В. Чичинов. Не так давно мы получили из далекого Тбилиси весточку о том, что там на грузинском языке увидели свет лучшие стихи поэтов мира о Ленине. В их числе стихотворение Б. Укачина «Рожденные весной» в переводе Э. Курдиани. Почти одновременно московское издательство «Художественная литература» предложило всесоюзному читателю коллективный сборник «Зори братства», и в нем вновь стихи «наших», на сей раз молодого алтайского поэта Б. Бедюрова «Первые русские слова».

У меня огромный запас слов.
Но я не забываю два первых слова —
«Здравствуй» и «хорошо»,
которым меня научил старик Бушалдай,
Почти не знавший по-русски.
Ведь в этих словах так много главного
— Тепла и доброты...

(Перевод Я. Смолякова)

А. Прийма. Хорошие строки, теплые и добрые. Они — во взаимопроникновении культур, русской и алтайской, и, я полагаю, начавшиеся если не с этих именно, то с каких-то подобных им, добрых слов. Сотрудничество двух народов обогащает, наполняет новым содержанием обе национальные культуры, не так ли? Вот свидетельство русского поэта Ю. Гордиенко: «Четверть века я живу в Москве, и многие считают меня чуть ли не потомственным москвичом. А между тем для меня с каждым прожитым годом все ближе и ближе... Горный Алтай.

Много написано по следам воспоминаний, и все же чувствую себя в долгу перед Горным Алтаем. Как человек, покоренный величием алтайских гор и долин, я в долгу перед возвышающей душу природой этого края... Как переводчик, я в долгу перед современностью».

Да, алтайских поэтов много и охотно переводят, а на алтайском языке, в свою очередь, «заговорили» Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Есенин, Бернс, Хикмет...

Колесо истории закрутилось быстрее. Актуальным стало выявление общечеловеческого, интернационального начала в национальных ситуациях. И тут — я согласен с вами, Валерий Иванович, — в самом деле, в отношении алтайца к бытию, к окружающей действительности произошел перелом, скачок, если хотите... Алтаец, в том числе и лирический герой алтайской поэзии, занялся поисками универсального ключа к проблемам, которые выдвигает действительность.

А одна из них — та философски аналитическая тенденция, что наметилась в последние годы и ввела алтайскую поэзию в общесоюзную тональность поэтического развития. Она зрела уже в шестидесятые годы, в хорошо известной не только алтайскому, но и русскому читателю поэме Л. Кокышева «Туба». Она получила свое дальнейшее развитие сегодня прежде всего в творчестве среднего поколения поэтов. Вспомните хотя бы уже упоминавшееся мною стихотворение Эркемена... Или, скажем, произведения Б. Укачина, склонность которого к бытовой тематике, к фиксации сиюминутного, «домашнего» не раз отмечалась критикой. Версия мира у него проста, как велосипед: домашний очаг покоится у истоков этого мира и собою же замыкает его. Что ж, на первый взгляд это и есть чистейшей воды бытописатель, но это только — на первый. Внимательный же читатель без особых усилий обнаружит у быта сего, укачинского, любопытное свойство: похвальную способность отходить скромно, действительно по-домашнему, на второй план, на третий, едва только в поэтическом поле появляется человек, не без некоторого изумления взирающий на все эти холодильнички, шкафчики, кушеточки, обступившие его. Подчинительная функция быта тут очевидна. На первом плане у Б. Укачина всегда характер лирического героя, взятый на «изломе», в пограничной ситуации. А если еще точнее, то диалектика быта и характера его поэзии хорошо выражена в поэме «Улыбка»:

Случается: ты ошибся —
и этому сам не рад.
Случается: ты ушибся —
и в этом сам виноват.

О твердый угол эпохи —
жестоко локоть обжег...
И вот, работу закончив,
друзья собрались в кружок.
Они тебя обсуждают
как ты обсуждал их,
Они тебя осуждают,
как ты осуждал их.

(Перевод И. Фонякова)

Выявить глубинную суть человека, пропустить его «я» через «ухабы» житейской повседневности, хорошенько растрясти его и оставить за бортом характера все мелкое и случайное, все необязательное и наносное — таков укачинский подход к своему герою. Для алтайской поэзии подобный угол зрения, по-моему, нов и важен принципиально.

В. Чичинов. Конечно, раньше наши поэты чаще всего о географических приметах своего края писали, да еще о своей любви именно к данному либо подобному ему. А вот любовь в истинном смысле этого слова, то есть любовь как процесс, как движение, отмеченное озабоченностью о несовершенстве объекта ее, как-то оставалась в стороне. Она носила...

А. Прийма. ...констатирующий характер. Протекала под знаком чисто эмоциональной экзальтации, была реакцией констатирующего, живописующего сознания на мир. Она фиксировала состояния тела и души, но не сопрягала их. Оценка зафиксированного выносилась за скобки. Взгляд же Б. Укачина обращен на «болевые точки» действительности, в данном случае, человеческих взаимоотношений: «Они тебя осуждают, как ты осуждал других...».

Или возьмем Паслея Самыка.

Его поэзии, как и стихотворениям Б. Укачина, всегда свойственны конфликты. Самыку, как никому другому, становится тесновато в рамках традиционного поэтического письма, и он не отказывает себе в праве на эксперимент, обращается, например, к приемам и ритмам, не скованным жесткими требованиями устоявшейся метрики и, следовательно, принципиально новым для алтайской поэзии, в частности, к свободному стиху...

В. Чичинов. Да, к свободному в смысле ритмики. Но...

А. Прийма. Понял Вас. Уж во всяком случае его стих не свободен от традиций алтайского народа и многовековой алтайской культуры, в том числе и от морально-этических традиций. Ну вот, например, стихотворение:

Ты красива, но есть на земле и другие,
красивые тоже.
И все же — нет милее тебя.
Ты добра, но ведь есть на земле и другие,
столь добрые тоже.
И все же — нет милее тебя.
Ты нежна, но ведь есть на земле и другие,
столь нежные тоже.
И все же — нет милее тебя.
Ты чиста, но ведь есть на земле и другие,
чистейшие тоже.
И все же — нет милее тебя.
И на целой земле, никогда и нигде,
нет милее тебя!

(Перевод И. Фонякова)

Эти длинные периоды, этот гипнотизирующий напевный ритм, напоминающий тягучие песни гор, — завораживают, берут за душу. А поэтическая идея органично вводится в ритмическую систему, хотя и здесь не обошлось без дани былым дням «количественного накопления», без констатаций назывного толка... Однако Вы обратили внимание: сколь совершеннее стали средства выражения (сравните: «Топор, как балда, когда наточу...»), сколь расширился технический арсенал, профессиональный?

В. Чичинов. И не только технический. Техника, Алексей Константинович, техникой, но давайте за поэтическими средствами не будем забывать и о содержании тех добротных текстов, которые с помощью средств этих исполнены. Итак, мы выяснили, что от чисто описательной методики, свойственной алтайской поэзии первых послевоенных лет, наши писатели пришли не сразу, не вдруг к глубинному постижению самой сущности изображаемого и описываемого. Обогатились методы познания мира. Теперь они выразились, в частности, в самораскрытии характера лирического героя. Не арифметическое перечисление каких-либо психологических нюансов, нет, но именно самораскрытие, «взрыв изнутри» и последующий самоанализ...

А. Прийма. То есть перемещение не вдоль, не по поверхностному слою, а по вертикали, вглубь характера, ситуации.

В. Чичинов. Оно-то и движет сегодня алтайскую поэзию, водит писательскою рукою. Вот почему мы можем уже говорить о тематическом и жанровом разнообразии алтайской лирики, об индивидуальных примерах в творчестве А. Адарова, Э. Палкина, Б. Укачина, П. Самыка, Б. Бедюрова... Если же

коснуться их мастерства, на возросший уровень которого справедливо указали Вы, то позвольте предложить Вам маленький нехитрый эксперимент. Прочитайте стихотворение популярного на Алтае Л. Кокышева сначала в переводе И Фонякова, а затем на языке оригинала:

Когда заступает на вахту луна
И город приморский стихает,
Я слышу, как ночью тоскует волна,
Я слышу, как море вздыхает.

И вдруг берега начинают дрожать:
Неистовство им овладело!..
Еще бы! Ведь скучно веками лежать
Такому большому — без дела!

Таков перевод. А теперь — чарующая, самобытная звукопись оригинала:

Канча поэтке мактаткан талай
Каскак јаратка кўркўреп согулат.
Экчелип јаткан толкунынг ўндери
Энгирлер сайын эрикчил угулат.

Кере тўжине байканду кемелер
Кемди де талайдан јайканып бедрейт.
Көпөгөш өнгдў талайга көргөмдө,
Көксимди туйук санаалар өрўмдейт.

Уже сама музыка стиха, специфическая «чистокровная» горная музыка эта вряд ли оставит равнодушным даже того, чье ухо привыкло к иной мелодике, к иным гармониям... Идет «тотальный», я бы сказал, поиск новых сюжетных ходов и тем, изобразительно-выразительных средств, и его результат успешно реализуется в стихах, книгах.

И тут далеко не последнее слово за нашими молодыми писателями. Б. Бедюров, Д. Белеков и другие с переменным успехом ищут и, главное, находят глубоко национальные формы воплощения образа нашего современника. А ведь задача перед ними вовсе не простая стоит — раскрыть духовный мир нового человека. Она определяет гражданское звучание их стихов.

Нашим молодым литераторам уже недостаточно простой «командировки в область», мало одних только встреч с читателями за «круглым столом», предполагающих определенный психологический барьер между писателем, который будет читать свои произведения, и читателем, который будет их слушать. В подобной ситуации контакт получается излишне односторонним. Напомню в этой связи слова Леонида Леонова

о том, что «нынешний литератор должен с утра пойти за своим героем в лабораторию, в цех, на совхозное поле. И здесь ему потребуется совершенное знание профессии своего героя, без чего он не сможет понять его психологического отношения к тому или иному явлению жизни, без чего писатель не сможет поймать ту оживляющую подробность, которая убедит читателя в достоверности происходящего».

У нас же и по сей день все бывает иногда как раз наоборот. Скажем, способный Б. Суркашев, живя в Улагане, с легкостью, воистину обезоруживающей, отдает свое перо во власть туманным, метафизическим в основе своей «парениям духа». Наверное, хватит уже из мира реального, вещного лишь луной да горными вершинами восхищаться... Да и только ли ему одному?.. Скажем прямо, в сегодняшней алтайской поэзии не только у Суркашева пейзаж недостаточно соотнесен с внутренним миром человека...

А. Прийма. Зачем же так сразу и обобщать? Случай с Б. Суркашевым вряд ли можно назвать типичным. «Парение духа», говорите Вы, «горные вершины» лишь? А Каинчин? А Телесов? Их лирическая проза о людях села стала закономерным продолжением их поэтических книжек. Не угодно ли убедиться: «Слыхали вы, слыхали, что говорит моя мать? А вы-то, наверное, думали, что моя мама строга, даже сурова, — пишет Телесов. — Я до сих пор не встречал такого человека, как моя мама. Я до сих пор не видел такого богатого огорода, как наш огород. И сейчас, когда глаза закрываю, вижу: наш огород, весь в цвету и пахнет медом и малиной. И какие-то летние бабочки летают над нашим огородом...» Вот он, реальный человек на реальной земле со своими чувствами.

И последнее, о чем хотелось бы сказать, — это о проблеме перевода произведений алтайских поэтов. Найти толкового переводчика дело очень нелегкое. Не в том, конечно, смысле, что трудно найти именно переводчика, — охотников переводить хоть отбавляй. Но поэт должен найти человека, близкого ему по духу, по творческой сверхзадаче своей. «Б. Слуцкий поразил меня своим отношением к собрату-поэту, — рассказывает на сей счет Укачин. — Когда я принес ему свои подстрочные переводы, он немедленно потребовал у меня оригиналы. Поначалу я удивился: зачем ему они, ведь языка-то нашего он совершенно не знает? Но оказалось, что Слуцкий переводит многих поэтов, пишущих на языках тюркской группы. И когда я получил переводы, то убедился, что и в «русском варианте» очень точно и добросовестно сохранено мое поэтическое «я»... Мои товарищи по перу создают по-настоящему высокохудоже-

ственные произведения и точно выразить суть их произведений в переводе может только настоящий мастер...»

В. Чичинов. К сожалению, очень многие переводы наших друзей из Барнаула и Новосибирска, исключая переводы Ильи Фонякова, Е. Стюарт, часто поверхностны, маловыразительны. Это, скорее, их собственные сочинения на заданную тему. А проблема перевода стихов с одного языка на другой важна для нас еще и потому, что русский читатель ведь судит о состоянии алтайской поэзии по переводам...

А. Прийма. И именно квалифицированные переводчики вроде Б. Слуцкого, И. Фонякова либо Н. Матвеевой помогают понять, что в современной алтайской поэзии аналитическое начало и сопутствующая ему масштабность мышления на искреннем чувстве, эмоции возобладали сегодня над бытовавшей в недавнем прошлом склонностью к описательности, к констатации бытия. Они-то, похвальные тенденции эти, привели алтайскую поэзию к новому качеству. Они — залог ее дальнейшего мужания. Согласны?

В. Чичинов. Конечно.

ПЕВЕЦ ВЕСНЫ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Малочисленность алтайского народа ни в коей мере не сказалась на его талантливости. Через века, через все исторические невзгоды пронес и сохранил он в виде устного творчества свою поэзию, которая сегодня приумножена усилиями поэтов и известна далеко за пределами Горного Алтая.

Становление алтайской поэзии имеет свою специфику, вытекающую из особенностей национальных традиций художественного развития народного сознания.

Письменная алтайская поэзия связана с процессом создания литературного языка, который в своем развитии становился общенародным. Усилия по его созданию слились с борьбой за утверждение народности и реализма в литературе.

Одна из важнейших особенностей сегодняшней алтайской поэзии — ее философское и историческое осмысление современности, глубокая психологичность в показе внутреннего мира человека. В то же время поэзия связана с национальными художественными традициями, проявляющимися в тематике, характере образности, выразительности языка, который как бы предназначен для поэзии своим необычайным мелодическим богатством, нашедшим свое отражение со всей полнотой в поэзии Лазаря Кокышева, например, в его стихотворении «Алтай тилиме» («Алтайскому языку»):

Ак-јарыктың алдына келеле,
Айлу-күндү јеримди көрөлө:
«Адайым» деген алтай тилим,
«Энейим» деген эрке тилим...

Такое почти не переводимо, своеобразно здесь все: и звукопись, и лексика, и синтаксис стиха. Вот почему Кокышев — труднопереводимый поэт. Мы отдаем должное его прозе — он автор трех романов, многих повестей и рассказов. Но больше всего мы любим его поэзию, которая была органически связана с его жизнелюбивой личностью.

Рассматривая поэзию Л. Кокышева в целом, необходимо прежде всего подчеркнуть ее связь с народным творчеством. Причем, в освоении фольклорного богатства Кокышев не прибегал ни к подражанию, ни к стилизации. Близость его лирики с лиризмом народной поэзии заключается не только в употреблении элементов и мотивов фольклора. Она — в глубинном постижении народного быта, взгляда на мир и его восприятии.

Типично в этом плане одно из лучших стихотворений поэта — «Рождение пастуха», где рассказывается, как «под кедром большим, где тенистая мгла, пастушка рождения сына ждала». Рождение ребенка — великое таинство. Это прежде всего рождение человека, а потому, «чтоб видеть ребенка, дневное светило к закату движение остановило. Чтоб сына принять, травянистые долы заранее свои растянули подолы. Его ожидая, таежные птицы решили не петь, в тишине затаиться». И вот человек родился!

В испуге
Стада, услыхавшие крик,
По зарослям колким
Рассыпались вмиг.
Мальчишеский голос
Звенел неустанно,
И крику откликнулись
Гор караваны.
И небо
Стояло над ним на посту...
Так в мир необъятный
Явился пастух.
Когда о рожденьи ребенка
Узнали,
С соседних хребтов
Пастухи прискакали,
Склонились над ним
Голова к голове,
Сурово сказали:
«Он — свой человек»...
На склоне,
Где травы не выжжены жаром,
Пастушка водила
Овечью отару,
А зыбку
Весь день на кедровом суку
Лишь ветер-бродяга
Качал на бегу.
Да к ночи о мальчике,
(Низко видна)
Заботилась
Старая нянька-луна.
И кедры над ним
Вековые шумели —
Сказанья седые
Над мальчиком пели...
Но сыну
Уже колыбель не подстать,
И он над горами пытается встать!
И встал,
Ухватившись за ветви руками,
И замер,
Увидев весь мир пред глазами!..

(Перевод Е. Стюарт)

Так планетарно, масштабно увидел мир поэт и подарил этот непосредственный взгляд ребенку. Но мы-то знаем, что взгляд этот присущ самому поэту, который обладал завидным даром видеть мир как диво, чудо, не привыкал к нему привычками взрослого человека, видел его каждый день внове: «закрываю глаза, засыпаю — и знаю, что назавтра я вновь не узнаю тебя!»

Сегодня, когда поэта уже нет и ни строчки уже не прибавить к написанному им, хочется оглянуться на его творчество, охватить его разом. С чего оно началось?

Это было в 1952 году. Сергей Сергеевич Каташ, бывший тогда преподавателем национальной школы, не скрывая своего восхищения («э-э, вы только послушайте!»), прочитал нам, пятиклассникам, письмо, только что полученное из Москвы. В нем были юмор, просьба о деньгах и стихотворение, написанное в каком-то необычном боевом ритме. Называлось оно «Пой, певец, пой». В первой строке слово «кожонгдо» (пой) рифмовалось со словом «Кочжедо» в третьей строке. В стихотворении речь шла об ответственности поэтов за все на земле и их личной причастности к судьбам людей. Уже тогда мы почувствовали в чеканных строчках четкую интернациональную программу поэта:

Пой, певец,
О великих зорях,
Пой, певец,
О стране свободной,
Пой, певец, —
Твой свободный голос
Будет слышен везде и всюду.

(Перевод В. Фирсова)

Автором стихов был Лазарь Кокышев, учившийся тогда в Литературном институте имени Горького. Эти стихи и были, по сути дела, началом. Уже в них проглядывается то главное, что разовьется в будущем. Пройдут десятилетия, придет духовная и поэтическая зрелость, появится подлинная гармония мысли и чувства, но она не отменит героико-романтической атмосферы его ранней поэзии, ее лирического трепета...

Пою в горах,
Брожу то тут, то там,
В ущельях тьмы
Найти стараюсь свет.
Идет за мной косуля по пятам,
И журавли летят за песней вслед.
Когда охрипну,

Припаду к земле,
Из горных родников
Прохладу пью.
Я становлюсь значительно сильней
И вновь иду
И вновь, и вновь пою...

(Перевод В. Фирсова)

Хозяином входил поэт в жизнь, чувствуя, что «главный путь, он где-то впереди», что песни надо не сочинять, а выстрадать.

Главное в его стихах — проникновенный лиризм, сила любви и праздничность, полнота поэтического чувства, его свежесть и неповторимость.

Уже в первых его стихах присутствует вполне сложившийся самобытный и необыкновенно привлекательный характер человека, нашего современника, силу которому дает любовь.

258972

О, первая любовь —
живая сила!
Все новое: и мысли, и дела...
Не ты ль меня бороться научила,
Вручила даль,
широкий шаг дала?

(Перевод Б. Гайковича)

Голос его лирического героя, «летит к дрожащим небесам», к ногам сыплются звезды. Таким масштабным видением заявил о себе поэт с первых стихов, увидевших свет в пятидесятые годы.

Пятидесятые годы оказались для Лазаря Кокышева плодотворными. Тематическая и жанровая широта его поэзии (вплоть до создания романсов) обогащается и социальной глубиной, социальный долг понимается в эти годы как сокровенный. Произведения этих лет одухотворены чувством нового. Даже в стихах о природе, быте, любви мы явственно ощущаем гражданственность, масштабность видения, приметы времени и родной земли, образы современников. Идет бесхитростный поэтический рассказ о тяжелом прошлом народа и о его патриотическом труде сегодня. Вот мать поэта — старая телятница и здесь же помогающие ей люди. Вот «в веселье первый и в труде алтайский паренек», вот юноша Янар, проделавший путь от вершин голубого Алтая до вершин Ленинских гор,

Горно-Алтайская областная БИБЛИОТЕКА.

рядом «охотник — хозяин дебрей». А это кто? Мальчик, который «как взрослый, крепко держит вожжи».

Такая густая населенность. Она будет возрастать от книги к книге. От стиха к стиху будет увеличиваться и тяга поэта к природе, которую он чувствует и передает. Мы словно воочию видим, как «по продрогшей дороге, вдоль скрывшихся дней, листья мчатся к деревне, по людям тоскуя», слышим, как плачут дергачи, потому что скошена трава. И тут же рядом люди, которым жизнь «взамен тропинок... узких дает широкие пути». Это — герои-непоседы.

В одном из стихотворений своего первого сборника, выпущенного на русском языке издательством «Советский писатель» (переводы В. Фирсова, Б. Гайковича, Ю. Полухина), лирический герой говорит, что он хотел бы поле жизни перейти «поэтом ли, но Человеком — точно», что хотел бы «торить на дорогах жизни свою широкую борозду».

И это были не просто слова. Они перешли в дело. Последующие сборники стихов, романы и повести Лазаря Кокышева снискали ему любовь и уважение читателей далеко за пределами области. Они были свидетельством того, что «широкая борозда» поэзии, которую он торил в алтайской литературе, становилась все глубже, она вбирала в себя все больше и больше жизненного материала.

При этом сбывалось пророчество В. Луговского о том, что Кокышев — романтик. И добавим, что он романтик по всем признакам содержания и стиля своих вещей. В его стихах перед нами прежде всего «романтическая природа, дышащая таинственной жизнью души и сердца» (В. Белинский). В его стихах «ревет Катунь, как разъяренный бык, и берег бьет рогатою волною», «звезды — беличьи глаза — обиженно мигают».

Конечно же, он романтик, что видно по его лирическому герою, сливающемуся в нашем представлении с автором, который стоит лицом к Вселенной:

...Отроги гор —
моя квартира,
Я жизнь
Из окна наблюдать не мог...
Как свежий ветер
Я рвусь в просторы
Весь шар земной
для меня родня.

(Перевод Б. Гайковича)

Это своего рода вдохновенный пантеизм, сливающий воедино человека и природу, и в то же время это мироощущение нового человека, ставшего великаном.

В этих стихах запечатлено удесятеренное чувство жизни, помноженное на социально активную мысль. В этом плане Лазарь Кокышев прямой наследник традиций Маяковского. Та же открытая тенденциозность, эмоциональная насыщенность поэтических образов.

Асеев, предупреждая равняющихся на Маяковского, подчеркивал, что «шаг Маяковского не только равен семимильному шагу времени! А силы эти формируются только уверенностью в том, что дело, которое ты делаешь, есть единственное стоящее в жизни дело, дело не только личное твое, но дело народа твоего, твоей страны». Кокышев понимал это, но нашел себя далеко не сразу. Вначале у него были и стихи «под Маяковского», где от великого поэта была только внешняя форма — «лесенка», а главное — собранность мысли и ритмическая организация стиха — еще присутствовало не во всех ранних стихах. Четкость мысли и ритма пришли позднее.

Народность определяет душу кокышевской поэзии. Истоки ее в демократизме поэта, высота его гуманистического и нравственного идеала в степени прогрессивности его взглядов. О его лучшей вещи — поэме «Туба» — мы еще скажем. Сейчас отметим лишь то, что после этой поэмы было вполне закономерным написание стихотворения «Алтайцу Васе», ставшему своеобразным гимном в честь русского человека, который был рядом с алтайцем на всех крутых перекатах истории.

Горел Алтай. Кулак стрелял
нам в спину.
Ты — сирота. Куда пойти тебе?
Кузнец колхозный богатырь
Василий
Тебя пригрел в большой своей избе.
С тобой на фронте был Василий Теркин,
Тебе Чапаев радость духа дал,
Чтобы стать таким, как
большевик Василий,
Трудился ты, сражался и
страдал.
Ты не напрасно именем
гордишься.
Ты в каждый дом почетным
гостем зван...
И коль жена родит тебе мальчишку,
Ты просто назови его Иван.

(Перевод Ю. Полухина)

Романтичность поэзии Лазаря Кокышева мы до сих пор декларировали, а его надо осмыслить.

...Начиная с 1918 года А. М. Горький в течение четырех лет упорно твердил о том, что современный советский литератор должен быть романтиком.

Эту заповедь основоположника социалистического реализма в советской литературе хорошо усвоили алтайские поэты. Для их творчества, начиная с 20-х годов, характерна не восточная орнаментальность, а романтическая приподнятость поэтического стиля.

Лазарь Кокышев не столько раскрывает драматизм трагического, сколько создает эмоциональную напряженность фактов и явлений, у него в большой степени развито интимное начало, являющееся основой его лирики. Как правило, его стихи — это состояние духа (а в поэмах «состояние мира»). Романтические тенденции в них переплетаются с реалистическими. То мы видим в его стихах типизацию реалистическую, то начинается романтическая гиперболизация образов. Гиперболическое ощущение, в свою очередь, приводит к конкретному изображению. Основным в художественной структуре образов становится контраст, но контраст этот не нарушает общей гармонии стихотворения. Вот «Первый гром».

Весеннее спокойствие лазури
Еще таят родные небеса.
Но брови туч густеющих нахмуря,
Дохнула ветром первая гроза.
И гром ударил,
Словно в наступленьи,
И день померк бездонно-голубой.
Деревья опустились на колени,
И руки сучьев
Поднялись с мольбой...

(Перевод Б. Гайковича)

Лазарь Кокышев — сопрягатель ближнего и дальнего. Он видит землю в масштабах Вселенной. Даже в лирических зарисовках конкретного деревенского быта и пейзажа у него всегда есть романтическое. Но элемент этот не заглушает непосредственности лирического переживания, сладкую поэзию жизни. У него романтизм чувства во всем:

Я мечтаю, может быть,
Только об одном —
Быть бы мне черемухой
Под твоим окном,
Чтобы ты, красивая,

Появясь в окне,
Посмотрела ласково,
Улыбнулась мне.

(Перевод Ю. Полухина)

Кокышев — поэт настроений, его стихи подернуты нежным туманом, как это отмечает его переводчик Илья Фоняков. Кокышева часто называют у нас «алтайским Есениным». Многие его стихи популярны в народе как песни... Именно он, импровизатор-поэт, в 25 лет стал автором первого алтайского романа, пронизанного, как и его поэзия, неудержимой стихией жизнелюбия и лиризма. В его распоряжении всегда был целый арсенал изобразительных средств: юмор, ирония, шарж, гротеск, сатира, пародия, буфонада и даже рисунок.... Нет, пожалуй, только патетики, и это выделяет его среди других поэтов. Ему свойственна своеобразная элегическая мечтательность, соотносящая явления внешнего мира со своей судьбой, судьбой народа, страны. Вот почему хотя его поэзия и связана глубоко с его личными переживаниями, она вместе с тем, оставляет впечатление общения с неизмеримо бо́льшим, чем его внутренний мир. Таково стихотворение «Вокзал». «По душе мне душные вокзалы», — заявляет поэт, а дальше идет художественный обзор всего, что он видит здесь: он видит «стайку молодежи, весело читающей стихи», они, может быть, завтра «залежат город счастья в голубой степи», он видит студента, нахохлившегося как птица, старых, в отставке, командиров «в обществе запасливых супруг», скромных солдат, матросов, и все это ему «по душе». Но вчитаемся дальше:

Нет, не все в знакомом этом круге
Я таким уж милым нахожу:
Профиль предпоследнего ворюги
Изредка в толкучке разгляжу.
Разгляжу надменного пижона,
Меж людей,
поджав брезгливо рот,
Встал он, будто кукла, наряженный,
И мешает двигаться вперед.
И как только — снова сердце спросит —
К нам таких заносят поезда?
Впрочем,
их приносит и уносит,
Лучшие — приходят навсегда.
Помню, в край наш прибыли ребята,
Вбили первый колышек в траву...
И от них
сегодня депутаты
Поезд ждут — на сессию, в Москву.
За окном высоким — вспышки света,

Рельсовые длинные пути...
Я не зря люблю вокзалы: это
Жизнь в движеньи,
Родина — в пути!

(Перевод И. Фонякова)

Как видим, Лазарь Кокышев в сборнике «Вторая жизнь» стал подмечать наиболее существенные глубинные явления жизни, помня, что обращение к современности — это не просто оперативные отклики на быстро чередующиеся события, а страстное, активное вторжение в действительность. Стихи полны той же бьющей через край романтикой, но вместе с тем, в них появились более суровые интонации, которых, признаться, уже так не хватало. К романтическому видению мира прибавилось диалектическое его осмысление, переоценка сомнительных ценностей, доискивание до первопричин, размышления о времени и о себе, обращение к теме труда. От осознания этой мысли родилось одно из лучших, на мой взгляд, стихотворений поэта — «Я иду на работу».

Вместе с солнцем выходит поэт на свою орбиту — работу.

Узнаю товарищей! Смотрю
На сады, разбуженные ветром.
Пастухам, рабочим, нивам, кедрам
— Здравствуйте, родные! — говорю.

Так идут работники страны.
В перекличке центров и окраин.
Сколько их — и все они равны!
Сколько их — и каждому я равен!

Я иду. Я радостен и бодр.
Под сияньем неба голубого —
Это самый настоящий смотр
Моего народа трудового!

(Перевод М. Шлаина)

Труд здесь не обязанность, а нравственная категория. Армией «с рабочими руками» видит поэт свою страну, которая «живет солдатом и не думает воевать». В этой армии — черты будущего. Их надо только видеть. Они не только работают, но и чувствуют приближение весны, видят первую травку, нежнее относятся к девчатам... Они живут и это великолепно само по себе, этого не может не почувствовать настоящий поэт, придающий своим индивидуальным переживаниям широкие масштабы, масштабы страны, мира. Целый мир поместился со своими «болевыми точками» в сердце поэта и отразил свои

проблемы в запоминающихся образах, в частности в облике греческой певицы Марии Фарандури, поющей на каменистом берегу песни Микиса Теодоракиса.

Она поет — и лютня моря
Аккомпонирует, грозна, —
Что пьет Эллада чашу горя,
И в чаше той не видно дна,
Что в тюрьмы гонят непокорных,
Что на свободах — жирный крест,
Что недоучками в погонах
Взят Аристотель под арест,
Что на святыни мировые
Отбросил тень свою палач...
Так миру говорит Мария,
И мир ответствует:
— Не плачь!
Любовь к свободе не иссякла.
И не иссякнет никогда,
Взойдет над родиной Геракла
Ее прекрасная звезда.
Недолго править черной клике!
В подлунном мире днесь и впредь
Цвесть Белояниса гвоздике
И песням Микиса — звенеть!

(Перевод И. Фонякова)

Стихи последних сборников поэта говорят о том, что «главный путь» поэта был уже не впереди, а счастливо найден. Поэт уже мыслил под стать времени. Мысль его не стояла на месте. Над всеми стремлениями поэта доминировало одно — принести людям в дом как можно больше стихов, юмора и счастья. Не об этом ли его стихотворения «Мое счастье», ставшее его поэтическим завещанием?

Чтобы счастливым стать, не надо много мне
Среди других людей на этом белом свете:
Коль счастье есть у вас и жизнь цветет в стране,
То в сердце и моем большое счастье светит.

Разноязык народ, любимый и родной,
И сердцу моему с людскими рядом биться.
Родится вам малыш, веселый, озорной,
И ваше счастье враз с моим в душе роднится...

...Каким бы не был он, ваш путь и ваш удел,
Я с вами до конца в надеждах и дерзаньях.
Пусть даже старость, смерть —
я счастью бы хотел
В последний миг отдать последнее дыхание!

И если жизнь уйдет, как косяки коней,
Не лейте слез, друзья, — зачем печали
множить? —
И здесь оставлю вам в наследство радость
дней
И счастье жизни всей, что золота дороже...

(Перевод Е. Стюарт)

Излюбленный прием в поэзии Лазаря Кокышева — ирония. Не боясь обидеть свой народ, он раскрывает его глаза на то, что достойно осуждения. Зло носит для поэта вполне конкретный характер, это пережитки прошлого... Борясь с ними, он и достигает наибольшей художественной выразительности. Она рождается тогда, когда в его системе изобразительных средств появляется своеобразный синтез реалистических и романтических форм обобщения.

Несколько слов о юморе. Он не хлесткий, как у Ильфа и Петрова, юмор Кокышева — не зощенковский юмор, переданный при помощи стихии языка, юмор его — это добрая улыбка самой жизни над своими несовершенствами, которых становится все меньше и меньше, но которые, к сожалению, еще есть.

Источником комизма, как правило, является язык и сама сюжетная ситуация. Мастерски обыгрываются словосочетания, комический эффект нередко создается авторским вмешательством в происходящее. Кокышев смотрит на окружающий мир глазами добродушного мудреца, любящего смех, улыбки.

Нельзя, говоря о Кокышеве, не отметить его интереса к народным характерам. Образы людей из народа в его поэзии всегда колоритны. Вот дед Боргой, которого за хорошую работу посылают в столицу. Что же он? Он и тут остается самим собой.

В путь-дорогу старика
Провожает весь колхоз,
Тут и пиво, и талкан,
И напутствий целый воз.
«Ты уж всем нам удружи —
Речь на выставке скажи!»
Перед ним во всем размахе
Сам районный парикмахер,
Управляясь здорово,
С лихостью солдатской
Украшает голову
Полькою канадской.
Дед и сам участник в деле:
Шапку лисью набекрень,
Тронул дегтем — заблестели
Сапоги, как ясный день.
Важно — словно не впервые
Ехать — марку держит,
На платочки носовые
Полотенце режет.
Перед зеркалом на плечи
Свой накидывает плащ,
А старуха скромно шепчет,
Еле сдерживая плач:
— Ты не езди долго
слишком.
Станешь там большою
шишкой —
И останешься, небось...
— Ты, старуха, это брось!

Как же ты понять не
можешь,
Если все руководить
Вдруг да примутся, то кто же
Будет сливки развозить!..
До горы, до перевала,
Вдоль по тракту всем селом
Провожают аксакала:

Дед и впрямь глядит орлом!
Всюду радостные лица.
— Слышь, старуха, не скучай!
По дороге пыль клубится —
Едет дед Боргой в столицу...
Ну, Москва, не подкачай!

(Перевод В. Сергеева)

Надо пояснить, что герои поэта — простые люди — предмет его особой любви и привязанности. Поэтому-то он относится к ним так сердечно.

Столь же глубоко и страстно он ненавидел. Жизнелюбие поэта не ограничивалось только радостью бытия, его светлыми сторонами. Видел он и изнанку, и тут на помощь ему шел сатирический вымысел, традиции которого в алтайской поэзии идут от М. В. Чевалкова. Смех Кокышева — это победный смех над теми, кто плетется по обочине жизни.

Неглупый парень!
С десятилеткой
Работает складно.
Пьет не часто.
В нем только одно
удивляет нередко —
Не может
спокойно видеть
начальство...

(Перевод Ю. Полухина)

К сожалению, сатирический вымысел Кокышева не всегда органически входил в мир реальных жизненных отношений, но это предмет особого разговора.

Таким образом, народность Кокышева не только в умении использовать народные слова и обороты речи, но и в умении решать задачи большой социальной значимости, переосмыслить жизнь в свете нового, современного опыта.

В поэзии Кокышева рядом со стихами гражданского плана много прекрасных образцов лирического самораскрытия, где поэт не декларирует любовь, а делится ею, как самым драгоценным достоянием, достоянием, которое вырастает всего лучше на родной почве:

Лунной ночью в горах
Я смотрел на цветы,
Наклонившись в седле,
Я спросил у цветка:

— Для кого и зачем
Здесь красуешься ты?
Здесь безлюдье и глушь,
Здесь гостят облака.

Здесь никто не узнает,
Как ты хорош,
Едем к людям со мной —
Будешь лаской согрет!..
Пробежала по стеблю
Волнения дрожь,
И услышал я голос
Нежнейший в ответ:
— Я с тобой не хочу,
Я увяну в пути,
Мне привычны ветра
И рассветный туман.
Только здесь, где возрос,
Я умею цвести,
Мой отец седоглавый —
Гора Чаптыган.
А Катунь голубая, то — матерь моя,
О проезжий, проезжий,
Не тронь, не срывай!
Пусть расту я в глуши —
Здесь на родине я...
Так ответил мне
Горный цветок тандалай.

(Перевод И. Фонякова)

По Райнису, поэзия — это создание новых типов, таких существ, которых не спишешь готовыми с натуры. Таков Туба, герой одноименной, на мой взгляд, лучшей поэмы Лазаря Кокышева, ставшей поэтической эпопеей о гражданской войне.

В этой поэме ярче, чем где-либо, проявилась национально-фольклорная основа поэтики Лазаря Васильевича. Повышенная условность, броскость стиля — все это взошло прежде всего на почве традиций устного народного творчества.

Туба — представитель племени, обреченного до революции на тяжелую долю. Чтобы как-то свести концы с концами, он бьет в тайге орехи и продает их. Вот она, долгожданная выручка.

Но:

Начал Туба
Грустно выручку считать.
Байский долг кладет он
вправо.
Влево прячет долг купца.
А зайсанам?
Их орава...
А шаману? Нет конца.
А жена, а мать, а дети?

(Перевод Г. Горностаева)

Махнул Туба рукой и подался в кабак: «На улице грязь, осенняя хмарь, а в кабаке — сам себе царь». После недолгого беззаботного разгульного торжества угодил Туба за долги в тюрьму и там, лежа на «строганых нарах», задал себе «опасный» вопрос, свидетельствующий о классовом сдвиге в его прежде темном сознании: «Кто на помощь придет?». Разобраться в этих сложных по тому времени вопросах помогает неграмотному алтайцу сама действительность и русский друг Иванак.

— Иванак!
Моя башка,
Видно, поглупела.
Что такое «большевик»?
Что такое «белый»?
Что случилось с Улалой?
Что такое «красный?»
Каждый бьет в колокола.
Может, не напрасно?
— Да, народ шумит не зря.
В Питере-столице
Сняли с должности царя,
Царенят с царицей.
Дали им коленкой в зад,
С трона — в каталажку.
Довертелся на балах
Палкин Николашка.
Белый — тот, кто за царя,
Красный — тот, кто против.
Ленин — главный большевик
И вожак в народе.

Таковы те жизненные «университеты», через которые поэт проводит своего героя, прежде чем сделать его сознательным бойцом за дело революции.

В этой поэме художественная палитра поэта особенно богата красками и оттенками различных настроений. В ней и горькая усмешка («Арестантская глава») и мягкий народный юмор («Туба угодил в тюрьму», «Рыжуха»), ирония, нередко переходящая в гротеск («Туба защищает демократию»), высокий революционный пафос.

Эта поэма, в которой ярко запечатлен национальный характер алтайца, есть свидетельство того, что без истинно национального не может быть интернационального. Национальные реалии перерастают в интернациональную духовность. В эпилоге, являющемся апофеозом поэмы, Кокышев отказывается от регионального пространства и времени. Действие уведено в символическую условность. Красные всадники пролетают «по порядку девяносто девять стран», «салютуют Вьетнаму», поят лошадей на Кубе, но к утру «возвращаются с вахты дозорной на родной Яломанский хребет».

Чтобы вечером, после захода,
К небу громкую вскинуть латунь,
Торопливо спуститься и с хода
Переплыть голубую Катунь.
И пока Звездный Ковш рукояткой
Повернется в рассветную рань,
Эскадрон пролетит по порядку
Девяносто девять стран.

Поэзия Лазаря Кокышева — это постоянное стремление уйти от стандарта и банальности, а некоторая раздвоенность его поэтического «я», отраженная в его смутной тоске по идеальному, явственно создает атмосферу светлой грусти, которая неизбежна там, где идеал не всегда соответствует действительности. Так возникает то явление, которое можно назвать парадоксом лирики Кокышева: надежда на лучшее во многих его стихах подернута легкой грустью, даже ветер и тот грустен, но оттенок — всегда светел.

Господствующей темой кокышевской лирики последних лет была «личная» тема, «перепетая не раз и не пять», включавшая в себя любовь, природу, творчество. В результате сюжетный стих нередко уступал место лирическому. В творчестве Лазаря Кокышева появились строки, характеризуемые довольно сложной образностью, с тонко разработанной звуковой фактурой, с разнообразием синтаксических ходов.

Что это — сон?
У солнца на виду
Я поднимаюсь
и в заре горящей
По шумным людным улицам бреду.
Не сон ли это?
С капельками рос
В последний раз я к твоему порогу
Цветы печальной осени принес.
Что это — сон?
Зачем стою я тут?
А мимо люди, радостные люди,
По длинным, длинным улицам идут...
Не сон ли это?
В ярком блеске дня
Как ты прекрасна в легком платье белом!
Как голова кружится у меня!..
Что это — сон?
Не протянула рук,
Склонилась над осенними цветами
И прошептала: «Слишком поздно, друг...»
Не сон ли это?
В тягостном бреду,
Шатаясь, я теряюсь средь прохожих
И длинной, длинной улицей бреду...
Что это — сон?
На тяжкий сон похоже...

(Перевод Е. Стюарт)

У «тяжкого сна» здесь светлый оттенок, у трагедии — белый цвет, что уже само по себе признак большой поэзии. Особенно хорошо это видно в стихах, включенных в сборник «Вто-

рая жизнь». В этой книге на первый план выступила новая особенность кокышевского таланта — умение воссоздать мир во всей его драматической сложности. Это были опять поиски, попытка выйти на новый уровень творчества.

На первом месте пока траур по потерянной дочери, но боль не притупляет чутья художника. Даже из личной трагедии путем освобождения от горечи переживаемого поэтом добывается лирическая искра. Пафос стихов — в постоянной радости бытия, пусть даже омраченного горем.

Достоверность чувств — вот в чем основное достоинство книги, хотя в самих стихах нет ни ярких поворотов, ни оригинальных сравнений.

Новое переживание изменило тон кокышевских стихов. Предметом размышлений в книге «Дорога», например, по-прежнему остается личная жизнь поэта, его внутренний мир. В интонационном отношении стихи отличаются элегичностью. И это, не отменяя глаголов гражданственности, скорее — наоборот, лирика поэта чаще всего предстает как исповедь в образе совести поэта, волнующейся во имя нравственного и художнического долга и обращающейся к самому дорогому — к образу Ленина.

Сюда пришел я
За советом Вашим,
С себя стряхнув
Седую пыль дорог.
Чтоб сил набраться
Перед новым маршем
Переступаю через Ваш порог.
Сквозь грозный век,
Что вами взбудоражен,
Мечты, надежды, планы юных лет,
Свой взгляд на мир,
На место в мире нашем,
Я к Вам принес, Великий,
На совет...

(Перевод Л. Чикина)

Книга эта демонстрирует самую важную особенность его лирической сущности — мужественный драматизм, а то и трагизм. Таков Лазарь Кокышев в конце своего жизненного пути, таким мы и должны принимать его — без лучезарных улыбок, но с моцартианством мелодий, жизнелюбом во что бы то ни стало.

Да, я чую, весну. Да, я чую весну!
Парни, станьте сегодня нежнее к девчатам!
Я в лесу вам упругую ветку нагну,
Где листочков конвертик едва распечатан...

Да, я чую весну! Да, я слышу ее!
Вы, кто брал нас когда-то к себе на колени, —
Не горюйте о веснах, пропевших свое,
Улыбнитесь весне моего поколенья!

Да, я чую весну! Да, весну я зову!
Будем, люди, любить горячо и упрямо,
Чтобы трудное счастье сбылось наяву,
Чтоб глаза, как цветы, не имели б сраму!

Да, я славлю весну! Вот явилась она!
Находите слова красоты небывалой.
Пусть любимые скажут, что это весна
Наши губы шершавые околдовала...

Да, я славлю весну — каждый день, каждый час.
Пусть не будет ее доброта безответна!
Я прошу вас, друзья, поклонитесь хоть раз
И скажите спасибо весеннему ветру!

(Перевод И. Фонякова)

У него было отличное свойство — каждый день по-новому смотреть на жизнь и не узнавать ее, очаровываться ею по-новому.

Это и есть первейшее, непревзойденное свойство его удивительного, редчайшего по обаянию таланта, который был всегда на коне и слышал как

Звенят, звенят из меди стремена,
От топота земли пудит сердито.
Веселый смех... И песня там слышна...
И кони... кони... Искры под копытом!..
Вот обогнали... С песней мчатся прочь,
Конца не видно черным силуэтам.
Куда летите? Стойте!.. Только ночь.
И звон стремян.
И не слыхать ответа.
Звенят из меди стремена, звенят.
Родная песня душу держит прочно.
А кони, фыркая, вперед летят —
На гривах только ветер полуночный.
Смех веселее...
Песня все слышней...
Ах, кони... кони... Под копытом пламя!..
Но не догнав промчавшихся коней,
Без силы звезды падают пред нами...

(Перевод Е. Стюарт)

Сегодня, когда я думаю о нем и его творчестве, Кокышев представляется мне поэтом необыкновенным, явлением неповторимым... Перечитывая Кокышева, я испытываю необыкновенное чувство подъема и наслаждения, как от встречи с истинно прекрасным и величавым, способствующим твоему духовному обновлению.

Для таких, как он, поэзия превыше всего. Словно о нем написал Б. Пастернак свои знаменитые строки:

Что ему почет и слава,
Место в мире и молва?
В миг, когда дыханьем
сплава
В слово сплочены слова?
Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан недопит,
Век недожит, свет забыт...

Лазарь Кокышев, как и Павел Кучияк, выдающаяся, универсальная творческая индивидуальность. Время само изваяет ему памятник, вглядываясь в его жизнелюбивую поэзию, отражая ее характер. И каким бы ни был памятник, думается, что на нем должны быть начертаны слова поэта, обращенные к молодежи, к «детям Алтая».

Умом и хваткой знатные бойцы!
Все круче путь, все ярче наши цели!
...Но разве вам алтайские певцы
Заветные сказанья зря пропели?
...Вас отчий дом на привязи не держит.
Уходят вереницы птичьих стай.
И вам пора. Счастливый путь!
Но прежде —
Еще раз оглянитесь на Алтай.

(Перевод М. Шлаина)

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

О своем происхождении А. Адаров написал так:

В горах джайлау колыбель моя,
Поближе к тучам, что плывут высоко.
У края ледников родился я,
Поближе к звездам, где летает сокол.
И сердце я оставил, не тая,
В родном краю, где голубые горы.
Там навсегда осталась песнь моя —
В густых лесах, где листьев тихий шорох...

Это откровение охотно поддержали критики. Они ухватились за него как за факт, многое объясняющий в его земной поэзии Адарова.

Во вступительной статье к сборнику «Стихи», выпущенному алтайским книжным издательством в 1972 году, К. Иванова пишет:

«Джайлау — колыбель поэта и в прямом и в переносном смысле. Здесь он родился, вырос и заработал «чабанский трудный первый» свой диплом.

Здесь одаренный мальчик сумел расслышать, как в потрясенных громовыми раскатами кедрах гор, будто от мощного хохота, «древний трясется базальт» и почувствовал «дрожь летящей струи водопада», а облака, что неустанно мчатся и мчатся над Каярлыком, уже тогда представлялись ему табунами стремительных «алтайских гривастых коней».

Здесь научился он **понимать спокойное достоинство** трудовых людей — героев его будущих стихотворений. Храбрые мужчины гор, нежные и мужественные женщины-алтайки вошли потом хозяевами на страницы его книг.

Здесь подросток Аржан в рассказах старших узнавал духовную историю своего народа. А старшие, удивляясь миру и еще больше самим себе, любили вспоминать, как в глухие, забытые, казалось, и небом и людьми селения горцев пришла новая жизнь. Как в жестоких схватках ломалось старое и побеждало новое.

В этом, видимо, суть адаровской поэзии, которую один из его талантливых переводчиков И. Фоняков определил так: «Аржан Адаров по складу своему ярко выраженный публицист, о чем бы ни писал, он, даже о природе, о любви, — в основе его стихов всегда четко развивающаяся мысль».

Главное в творчестве Адарова — историзм мышления, констатация того нового, что принесло время Октября.

В произведениях Адарова чаще всего важна не отдельная личность, эпизод, а картина целого. Для него характерно стремление к философскому постижению действительности. Он много размышляет: о поэзии, о жизни, о смерти, об истории. И все это передается в ясной, доходчивой форме.

Вот как по крупному счету, оптимистически мыслит о жизни и смерти поэт:

Снилось мне, что меня хоронили,
И, безмерно скорбя обо мне,
Свои головы горы склонили
В этом странном сегодняшнем сне...
...Вот слова я последние слышу.
Хорошо обо мне говорят:

Будто был я всех чище и выше,
И за это благодарят.
Сквозь предсмертный туман долетая,
Говорят мне слова и о том,
Что душа у меня золотая,
Что на камне лежит золотом.
Ибо тот, кто был подлым и вздорным,
Криводушец, мздоимец и тать,—
Не сгорая на камне черном
Будет вечные годы сгорать.
Весь отсюда мне виден свет...
Превращаюсь я в воздух и ветер,.
Чтоб навеки остаться с людьми.
До чего же прозрачен и светел
Подо мною раскинулся мир!
Небосвод надо мною открылся
Небывалой голубизны...
Странный сон мне сегодня приснился.
Ну, да кто теперь верит в сны...

(Перевод Е. Храмова)

В сны — да, сегодня никто им не верит, но благость жизни, прожитой для народа — не о ней ли мысль смягчает в данном случае трагедию небытия? Не в ней ли исток такого оптимистического мироощущения, несмотря на то, что поэзии Адарова всегда присущ внутренний драматизм, рожденный диалектическим подходом к жизни.

Первый выход Адарова к читателю состоялся в 50-е годы, когда будущий поэт учился в областной национальной школе, давшей первые знания и уроки гражданственности.

Исходя из сегодняшних достижений поэта, мы можем и должны строже судить о раннем Адарове. Мы можем сказать, что 50-е годы дали ему однозначные итоги. Трафаретная череда стихов снижала их пафос, вела к стереотипности поэтического видения.

Кайру, ты помнишь ночь,
когда враги
Ползли в долину сонную
украдкой?
...О, как тихи бандитские
шаги,
И как штыки сверкали перед
схваткой!..
Герои пали. Только мысли их
В горах остались, засверкали
ночью.

На месте павших — тысячи
живых,
Дела отцов — живут в делах
сыновьих.

(Перевод Л. Чикина)

Стилистические особенности будущего Адарова-поэта здесь есть. Конечно, о стиле говорить еще преждевременно, он сложится в 60-е годы, а пока же идут стилистические поиски основной линии творчества. Уже тогда намечается выход его лирики за пределы личного опыта в область опыта других поколений.

Мой брат — кузнец.
Он — чародей у горна.
Ты, друг, таких умельцев
не видал.
Тяжелый молот мягко и проворно
Послушней воска делает
металл.
Поет металл...
И песня льется в небо.
Рождает молот зубья,
лемеха...
Я, наблюдая, думаю:
«И мне бы
Вот так ковать детали для
стиха!»
Но слово тверже всякого металла.
Не гнется слово...
Эдакий сырец!
— Ты стих, видать,
накаливаешь мало! —
Сказал мне, улыбаясь,
брат-кузнец.

(Перевод И. Фролова)

50-е годы были годами проб, поисков своего «я» и присущего ему голоса, чтобы не петь с чужого. Опасность этого, как известно, подстерегает почти каждого, кто решил посвятить себя служению музе.

И вот первые находки себя, своей интонации, манеры, темы. Пришли они в 60-е годы, когда поэт стал пристальнее вглядываться в современность, ища в ней свою поэтическую истину, определяющую его творческий облик.

Основное поэтическое кредо Адарова — жизненная правда. Именно поиски ее заставляют поэта связывать воедино день сегодняшний и день вчерашний.

Надо правильно понять поэта. Несмотря на особую приверженность к истории, он — певец современности. Адаров — певец человека, но связь с человеком у него не сиюминутная, она у него во времени и пространстве.

Поэзия Адарова рождена на высоте «земли, поднятой к солнцу», и потому сама имеет возвышенный характер. Высота ее своеобычна. Она в вызове низости, высота его поэзии — это забота о наилучшем в жизни и в человеке! В этих поисках и происходит самораскрытие лирического героя.

Рожден в краю
Суровых синих скал,
Я легкой славы
В жизни не искал...

Я никогда
Хвалителям не льстил,
Я никогда
Хулителям не мстил.

Мне не знаком
Самодовольства груз,
И зависть
Я не пробовал на вкус.

Я к людям шел
С открытою душой,
Беду чужую
Не считал чужой.

И счастьем друга
Счастлив был сполна —
Поэт
И сын простого чабана!

Пусть иногда
Мой стих бывает груб:
Я рядовой —
Работник-лесоруб.

Свой нужный труд
Не за корысть люблю —
От сердца к сердцу
Просеку рублю!

Поэзия!
Услышь простую речь,
К твоей вершине
Дай ступенькой лечь.

Для всех, с кем я
Дружу в стране родной,
Для всех, кто рядом
Трудится со мной.

Хочу, чтоб в каждом
Доме ты жила,
Хочу, чтоб в каждом
Сердце ты цвела...

И если трудно
Будет иногда,
Я повторяю,
Что это — не беда.

Рожден в краю
Суровых синих скал,
Я легкой славы
В жизни не искал!

(Перевод И. Фонякова)

Это стихотворение Адарова, называемое «Поэзия» популярно. Его часто цитируют, усматривая в нем программу поэта, его поэтическое кредо. Я же привел его как предварительный итог сделанного, как реакцию на нравственную атмосферу времени.

Сегодня на счету поэта более десяти стихотворных сборников. Поэтический голос Адарова звучит ровно и уверенно. С позиций сегодняшнего дня смотрит он на прошлое и дает ему неоднозначную, но совершенно четкую оценку.

Аил, аил! Убогое жилище,
Как много дум ты пробудил во мне!
Здесь шли года, здесь бедность прела пищу
На стареньком трехногом тагане.
Бывало, ветер с бешеною силой
Худую, в дырах, кровлю из корья
Срывал с тебя — и остов твой унылый
Торчал, как ребра павшего коня!
Аил, аил, старинный, шестигранный!
Сюда, где жизнь просторна и светла,
Из прошлых дней,
как некий призрак странный,
Прибрел ты на окраину села.
Аил, аил, твой век недаром прожит,
А новому —
ни в чем ты не под стать.
Еще неделя пролетит, быть может, —
И рухнешь ты, чтоб никогда не встать.
Аил, аил, сложна душа людская!
Я новой жизнью свято дорожу.
Я вот стою — и, словно бы лаская,
Рукой по бревнам тихо провожу.

(Перевод И. Фонякова)

Современность в его поэзии — продолжение предшествующих эпох. Связь времен как условие диалектического понимания жизни. Это позволяет показать духовное богатство народа, своеобразие его художественных и этических традиций. Не случайно решение именно этой задачи, если не считать отдельных недочетов, увенчалось заслуженным успехом: поэзия Адарова — одно из наиболее глубоких обращений алтайских поэтов к своим истокам.

Что ищет поэт в этих истоках? Нравственный и духовный опыт народа — вот что волнует поэта в прошлом. Постижение истоков начинается со своеобразного выяснения своей родословной, связанной с судьбой народа, с нелегких вопросов к времени и себе.

Мы кочевников племя. Нам тысячи лет.
Жили мы на земле как недолгие гости.
Мы с травой уходили,
и белые кости
В молчаливых курганах —
наш единственный след.
Кто мы?
Гул табунов, истлевших в степях.
Кто мы?
Тихий ковыль без конца и без края.

(Перевод Е. Храмова)

Это не что иное, как осознание себя в исторической перспективе.

Сквозь века мы прошли на своих лошадях,
Вырастая в седле и в седле умирая.
Да, кочевники мы! И сейчас, и сейчас —
От зимовья к джайлау и снова к зимовью...
Нет,
однажды зажженный огонь не погас,
Он по жилам бежит с беспокойною кровью.
Только лето — и сердце зовет нас вперед,
И, прищурившись, смотрим мы в синие дали.
Мы кочевники. Мы беспокойный народ.
Мы за счастьем своим столько лет кочевали.
К новой жизни мы шли,
крепко сидя в седле.
Сто веков прокатилось,
и пришло наше время,
И не гости теперь
мы на этой земле —
Мы хозяева здесь,
мы, кочевников племя.

(Перевод Е. Храмова)

Выход к проблематике преемственности революционных традиций, осознание своего народа в исторической перспективе осуществлен в стихотворении «Коммунист».

Он коммунистом не был — по анкете,
Отец мой, дельный, вдумчивый мужик,
Но шрам косой не зря его пометил:
На белых в бой он шел как большевик!

Он коммунистом не был — по анкете,
Но строил школы, основал колхоз,
И — пусть и не отмеченный в билете! —
Немалым был его партийный взнос.

Он коммунистом не был — по анкете,
Был беспартийным. Но за все в стране,
Как коммунист, считал себя в ответе
И умер коммунистом на войне.

Он коммунистом не был — по анкете,
Но если взвесить мысли и дела,
То жизнь его под солнцем на планете —
Вся заявленьем в партию была.

Отец мой, коммунист без партбилета,
Вовек твой образ в сердце не умрет,
И для меня в живую плоть одеты
Слова большие: Партия, Народ...

(Перевод А. Смердова)

Вот они в чем живые истоки идейно-нравственной преемственности поколений, вот что дорого нам из вчерашнего в сегодня. От истории к себе, от себя к миру — это и есть идеал творческого поведения поэта. Вот самое важное историческое обобщение Адарова. Такое обобщение осуществляется и в стихотворении «Я алтаец»:

Я — долина,
все ветры хлестали меня,
Я — тайга,
все снега засыпали меня.
Я — конец, я начало родной земли,
Из груди моей песни взошли,
Я — алтаец, народ,
Я хозяин долин и хребтов,
В моем сердце рубцы
От несчитанных стрел и клинков.
Я похож на дорогу,
По которой столетья шагал.
Я — алтаец.
Где кости того, кто меня убивал?
Где богатство того,
Кто веками мой хлеб отбирал?
Я — горбат,
Я — сутул:
Сто веков на захватчика спину я гнул.
Камни в пыль перетер я ногами
На дороге, где счастье искал.
Дым костров кочевых
Мне столетья глаза выедал.
Я укрылся в горах —
Я ушел,
я погиб,
я исчез.
Я — алтаец.
Я — жив.
Я из мертвых
свободным
воскрес.
. . . . . .
Я — алтайский народ.

(Перевод Е. Храмова)

В такой связи времен, в их диалектике и преемственности видит Адаров наш сегодняшний день. Такая трехмерность благотворна для поэзии. Она раздвигает пределы познания современности. Настоящее, сегодняшнее вытекает из прошлого и устремляется в будущее.

Да, многое отличает современных алтайских поэтов от их предшественника — первого писателя-самоучки М. В. Чевалкова (1818—1901). В их произведениях сложилась непривыч-

ная для предшествующего художественного мышления концепция личности и народа. В произведениях Чевалкова личности не было, в них ощущалось еще многое от фольклорно-художественного мышления. Иное дело в стихах того же Адарова. Из его поэзии встает осознавшая себя личность, национальный характер, стремящийся преобразовать жизнь на социалистических, интернациональных началах.

Главный критерий личности в поэзии Адарова — ответственность перед историей, преданность делу революции, гражданский долг. Чтобы постигнуть его, надо переворошить не одну тонну словесной руды. И тогда... Тогда на место ранней риторичности приходят четкие афористичные строки. Даже изображение природы в этом случае не что иное, как прием для раскрытия внутренней сути героя.

Я люблю тебя, Родина, каждой слезой,
Я люблю тебя, Родина, каждой улыбкой...
Чуть сощурюсь — и горы встают полосой,
Чуть прислушаюсь — кедр запевает, как скрипка.

(Перевод И. Фонякова)

К такой лаконичности пришло развитие поэтической мысли Адарова о Родине и о себе. Это уже не просто факты, не просто итог следования стиха за чувством, а процесс познания себя и мира, нечто существенное, гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд. Это выход за пределы личного опыта и опыта своего поколения.

Кедр в данном случае — образ не новый, традиционный, уже ставший орнаментом, но воспринимается он в этом контексте свежо. И свежесть эта объясняется тем, что он вошел в поэзию не готовым элементом формы, а обновленным мотивом содержания.

Образ кедра в данном случае — свидетельство современного типа мышления. Он потому так рельефен, что освещен глубинным светом подтекста. В нем — биография народа, совершенствование его психологии. Кедр — символ исторической судьбы народа, обновленной Октябрем. Традиционный образ обрел глубинное содержание, подчеркивающее его истинное национальное своеобразие.

Совершенно новый материал дали поэту зарубежные поездки. Перед ним открылся еще один мир, мир античеловечности. Это все тот же пристальный взгляд на историю, но уже в масштабе качественно новом — глобальном. Такой взгляд запечатлен, например, в стихах, посвященных Греции.

Синеве твоих вечных морей,
Красоте твоих горных цепей,
Волшебству виноградных корней,
Доброте твоих мудрых людей —
Шлю поклон тебе, Греция!

Как паломник, турист, пилигрим,
Был и я здесь, под небом твоим,
Умывался эгейской волной,
Алтын-Кель в ней узнав голубой, —
Буду помнить их, Греция!

Древний Акрополь, мрамор руин —
Звездной ночью я был там один.
Мне казалось, я слышал богов
С высоты твоих древних холмов —
Узнаю тебя, Греция!

Над тобою сегодня беда,
Носят траур твои города:
Вновь свободу твою пауки
Взяли в сети, тебе вопреки, —
Это больно мне, Греция!

Знаю я, не от слов, не от слов
Рухнет тюрем железный засов,
Но печаль моя, пусть хоть она
У тюремного встанет окна —
Будь свободна, о Греция!

(Перевод А. Смольникова)

Это — видение интернационалиста, но и тут поэт не отходит от решений, диктуемых складом его глубоко национального дарования. Ощущение родной земли, ее истории постоянно присутствует в контексте его стихов о загранице.

Мировой масштаб мышления заставляет поэта еще более внимательно всматриваться в судьбу своего народа, его историю.

Герой уже не просто часть природы, он — часть истории, человечества. Так он видит, так воспринимает мир во всей его широте и многогранности.

В движении «от сердца к сердцу», от народа к народу, от континента к континенту поэзия Адарова обрела новое качество — интернационализм, утвердилось и окрепло его чувство ответственности за все на земле.

Слышу я, как зовут пролетарские песни:
Справедливой борьбе безраздельно отдайся!
И седлает коня Революции вестник,
Мексиканец, похожий лицом на алтайца.

(Перевод И. Фонякова)

Такова концепция исторического мышления Адарова. В конечном счете она — в приобщении к процессу мировой истории, в более широком взгляде на прошлое и настоящее.

Его интимная лирика поднята до уровня нравственных обобщений и обогащает наш духовный мир. Она тоже имеет значение этической и эстетической меры. Она поэтизирует женщину как одно из лучших проявлений жизни. Женщина — нравственный идеал, воплощение прекрасного.

Мне глаза голубые, как волны Катуни,
Никогда не забыть, ни за что не забыть...
Помню тропку в лесу, помню звезды в июне —
Те, что нас научили друг друга любить...
Где же нежность твоя? Где же слово привета?
Все ушло, говоришь ты. Ушло — но куда?
Я пойду, я найду — хоть на краешке света,
Приведу — ведь, согласно законам планеты,
Здесь ничто не должно исчезать без следа!
Или все растворилось в пространствах
безвездных,
Как дыханье — в ночи, как туман — над рекой?
Я стою у окна — и на стеклах морозных
Белый блеск, снежный блеск осязаю рукой.
Наша встреча, глаза твои, звезды над чащей
И тропинка, где шли мы в предутренней мгле, —
Все вместилось теперь в этот резкий, слепящий
Белый блеск, снежный блеск на оконном стекле!

(Перевод И. Фонякова)

Так от узко-интимной лирики («Мне этой ночью ничего не надо») поэт приходит к философско-общественной поэзии, тяготеющей к историческим обобщениям, к соотнесению частного с общим, совершающимся в глобальных масштабах. Особенно это заметно в произведениях крупной формы — в поэмах.

Чтобы полнее раскрыть тему сегодняшнего Горного Алтая, поэт использует все жанры алтайской поэзии, начиная от лирических миниатюр пейзажного характера («Я люблю тебя, Родина, каждой слезой») и кончая поэмами, полными раздумий о времени и о народе.

Существенной особенностью нынешнего Адарова является его рефлексия на морально-этические темы, которые он пытается решать при посредстве больших эпических форм. Мир адаровских поэм — это не уютная жилплощадь благополучных персонажей, а преодоление противоречий. Таковы поэмы

«Тийинг», «Двери». Особенно хороша последняя. Она, на мой взгляд, этапное достижение Адарова-поэта.

Что сто́ит, например, один из эпизодов поэмы «Двери», главным двигателем которого является напряженное движение мысли, душевная эволюция и автора, и его героя в понимании исторических задач, которые ставит перед ними время.

Дети в школу спешат. Все глядят на часы.
Будто вот их в дороге застанет звонок.
Где он, колокол наш, что гудел над селом,
Созывая нас утром на первый урок?

Этот колокол старый, как был он тосклив!
Всю войну по утрам он нам в окна гудел.
Нам поспать бы чуть-чуть, нам поесть бы чуть-чуть,
Только он нас, голодных, жалеть не умел.

Сочной зеленью карта цвела на стене,
Океаны синели, желтели пески —
Сколько было на свете садов и полей,
Только были, как звезды, они далеки!

К нашей старенькой школе я утром иду —
Что-то тянет меня постоять у ворот,
Но из окон знакомых глядит на меня
Мне совсем незнакомый глазастый народ.

Так же карты по крашеным стенам висят,
Так же зелены степи и рыжи пески,
Только весел звонок, только светел урок,
Только легче сегодня стоять у доски.

Сколько света сегодня на нашей земле!
Так глядите в сто глаз, так трудитесь в сто рук!
Не робейте — любая откроется дверь,
Постучите — и люди услышат ваш стук!

Мы потомки воинственных древних племен,
Нас пожары войны обжигали не раз,
Нас немного на свете. Мы — малый народ.
Но для чести и славы достаточно нас!

(Перевод А. Смольникова)

И в произведениях большой формы Адаров остается в пределах своей индивидуальной манеры: он поэт-публицист. Публицистичность и историчность поэзии Адарова корректирует ленинская тема, диктующая поэту новые думы («Думы у Мавзолея»).

Мы шли сюда со всех концов страны.
И вот, в ряду других, со стороны,
Свое лицо я вижу отраженным
В граните полированной стены.
Вот — вход. Ступени. Голову склони.
Все мелочные мысли прогони.
Здесь вечным сном уснул товарищ Ленин.
В его лицо спокойное взгляни.
Здесь тишина. Что, сердце, шепчешь ты?
«Оттуда, где алтайские хребты,
Тебе несу я, Самый Человечный,
Любовь, и благодарность, и мечты!
Поверь, Великий, сыну чабана:
Пусть не большая сила мне дана —
Все сделаю, себя не пожалею,
Была б счастливой милая страна!»
Здесь, как нигде, минута коротка,
Здесь, как нигде, минута — велика:
Всю жизнь свою припомнить успеваешь,
И явственней грядущие века.
Мы движемся безмолвно, как в строю,
Великому причастны бытию,
И вот опять на площадь мы выходим,
На Красную, прекрасную свою.
Мы будем в небо Родины глядеть,
Забудем шапки зимние надеть,
И будут в волосах снежинки таять
И чистыми росинками блестеть...

(Перевод И. Фонякова)

Благотворное влияние на поэзию Адарова оказывает тот факт, что она находится в самой гуще жизни, в атмосфере постоянного общения не только с литераторами, но и с людьми, непосредственно занятыми на производстве. Это не прошло бесследно, это обратилось со временем в золотые крупицы поэзии.

Мой старый партийный билет!
Нас вместе ветра обжигали,
Мы вместе с тобой прошагали
Немало стремительных лет.
Со мной ты, партийный билет,
Дорогами отчего края
Шел, сердце мое согревая,
И сердцем ответно согрет.

(Перевод И. Фонякова)

Стихи эти написаны так, будто они выкованы после того памятного разговора с братом-кузнецом из стали, прокаленной в горниле времени и слов. Слова стихотворения «Партийный

билет» достоверны, ибо написаны на основе собственного переживания и переживания людей своего времени. Личное здесь органично вбирает в себя общее и потому пользуется успехом и за пределами Горного Алтая.

Адаров — один из наиболее переводимых алтайских поэтов, стихи его сегодня звучат на многих языках народов СССР.

Переводы произведений Адарова на другие языки убеждают нас в том, что настоящая поэзия не знает границ. О чем бы ни писал поэт — дне вчерашнем или проблемах дня сегодняшнего — во всем он талантлив, искренен и правдив.

Ты лежишь в горах, где реют птицы,
Вдалеке от плещущих морей,
Невелик, а все-таки столица
Автономной области моей.

Все мне здесь привычно и знакомо,
Вот смотрю — достоинства полны,
Встали строем около обкома
Елки — часовые тишины.

Тянут руки башенные краны,
Будто солнцу «здравствуй» говорят...
А когда-то, град мой деревянный,
Был совсем другим ты, говорят.

Здесь в грязи глубокой, непроезжей
Кони увязали, говорят,
И назвал тебя один проезжий
«Чертовым корытом», говорят.

Горечи немало в этой фразе,
Но сегодня — век уже не тот:
Из беды, из грязи — нет, не в князи,
Просто в люди вышел мой народ.

Пусть иные счастье ищут где-то,
Тянутся к случайному огню —
Город мой, поверь словам поэта:
Никогда тебе не изменю.

Пусть, бывало, больше и богаче
Города встречались мне в пути,
Лишь с тобой — с тобой и не иначе,
В коммунизм хотел бы я войти!

(Перевод И. Фоняков а)

Ради этого он и работает. Этим и интересен — чувством ответственности перед настоящим и будущим, стремлением постичь правду века во всей ее глубине!

МОЯ РОДИНА — МОИ СТИХИ

Сожалею, что не могу прибегнуть к сравнению, которое крутится обычно в голове, когда думаешь об алтайской поэзии: она, мол, гигантский вечнозеленый кедр. Сравнение заманчивое, но не совсем точное. И все-таки советская многонациональная поэзия с точки зрения современного алтайца является именно этим гигантским вечнозеленым чудо-деревом. Что касается алтайской поэзии, то она на этом необыкновенном дереве является веткой, у которой свой неповторимый аромат и своя необыкновенная судьба. И, конечно же, — свои поэты, в творчестве которых с большой силой проявил себя алтайский народ и его язык. Один из них Борис Укачин.

* * *

Слово поэту, пусть он вначале скажет его в прозе.

«Прежде чем стать поэтом, членом Союза писателей СССР, я был крестьянином, как и мои родители. Люблю коней и горы».

В этих словах весь Укачин — поэт, в творчестве которого тема природы стала социальной темой, поэт, упорно искавший свое «я» и нашедший его, поэт, становление которого шло не в тяге к образцу, а в поисках себя. Поиски эти далеко не завершены, но уже сегодня можно сказать: основной ответ на вопрос «что значит быть собою» найден:

Что значит «быть собою» для меня?
Быть сыном гор моих — и сыном века:
Когда я сыном времени не буду —
Моим горам тем самым изменю,
Когда ж забуду вас, родные горы, —
Тогда и веку стану я чужим.

(Перевод И. Фонякова)

Вот к какому горизонту привели поиски себя, сделавшие Бориса Укачина целостным поэтом. Чтобы постигнуть эту цельность, надо рассмотреть поэзию Укачина в движении.

Как он шел к себе?

Стихи начал писать в школе. Мечтать — тоже. О литинституте, о поэзии. «Шли годы. Я закончил школу. Вот, думаю, теперь-то я поеду в Москву... Но не тут-то было. Жизненные обстоятельства сложились иначе. Я был призван в армию. Но и там литинститут постоянно мерещился мне, как бы вопрошая: когда же ты приедешь ко мне? Я, не забывая свои мечты и надежды, продолжал думать и писать...»

Солдатские думы определили тематику его первой поэтической книжки «Jолдор» («Дороги»), увидевшую свет в 1960 году.

Тон первой книжке Укачина задает цикл стихов «Думы солдата» и органично вытекающий из него цикл «Родной край». Сопряжение этих двух тем делает первый, далеко несовершенный сборник поэта явлением цельным, подчиненным новой для алтайской поэзии теме — теме ратного труда. Именно эволюция этой темы и других в творчестве Укачина привели его к тому, что в 1962 году он стал студентом литературного института им. Горького.

...«Что дал мне литинститут?.. Кроме теоретической подготовки по основным вопросам литературы и общего направления, литинститут дает студенту самое дорогое в его жизни — знание русского языка, а через него, как говорится, приходит все остальное...

Я считаю, что современному литератору очень важно понять и уметь всегда чутко улавливать дух своего времени...

...Хочу особо подчеркнуть, что мне, тогда еще молодому человеку из далеких Алтайских гор, литинститут дал Москву — столицу нашей великой Родины!

...Мне близки и дороги имена многих литераторов-москвичей. Одним из таких людей был известный советский критик Александр Николаевич Макаров... Этот человек в моей душе оставил яркий, неугасимый огонек... Он зажегся в моей душе не оттого, что... Александр Николаевич тепло отозвался о моей первой московской книжке стихов «Ветка горного кедра», вышедшей в «Молодой гвардии»... Этот огонек ко мне передался от простоты и душевности большого литератора».

Интересно, как оценил первую московскую книжку Бориса Укачина взыскательный советский критик А. Макаров? На этот вопрос отвечает рецензия критика, включенная позже в книгу «Во глубине России». «Книжка эта, на мой взгляд, представляет собою отрадное явление в современной советской поэзии. Одна из особенностей нынешнего периода развития литературы — выдвижение малыми народами поэтов, лирика которых выражает чувства нашего современника. Поэзия малых народов окончательно вышла из детского возраста, из периода, когда она осваивала новые чувства и понятия, рядилась в пестрые одежды «национального колорита», сводившегося к насыщению стиха деталями местного пейзажа, старого быта и т. п. Она научилась выражать духовный мир современника, богатый и сложный мир переживаний и чувств, равно заполняющий душу русского и алтайца через призму национальной психики.

Русский читатель любит Гамзатова и Кулиева не только за то, что они помогают ему узнать и понять свой народ, а потому что в их лирике узнает и видит себя в несколько непривычном облике. Он ищет у них объяснения себя в такой же мере, как и в стихах русских поэтов».

Творчество Бориса Укачина — живое подтверждение этой новой стадии развития поэзии малых народов. Укачин — поэт оригинального таланта. Определяющей чертой его личного дара является способность говорить о высоком, нравственном не общими понятиями, а живыми образами, чувствуя и понимая драматизм жизни, любя, видя и передавая эту жизнь в движении... Таким образом, начав как поэт лирического склада, воспевающего родные горы, Борис Укачин скоро решительно расширил круг своих тем. Он включил в него злободневные и назревшие вопросы общественного бытия, в результате чего его поэзия приобрела характер лирической публицистики.

Затем начинается обращение к эпическим формам стиха, насыщенным колоритной народной речью.

Круг поэтических интересов недолго держался на Каярлыке. Вскоре он охватил масштабы всей страны, причем ощущение простора и интернациональной насыщенности поэзии Укачина дает не география, а биография поэта, связанная с его отношением к земле, на «солнечном склоне» которой он родился, по которой сделал первые шаги и по которой галопом несли его кони детства.

Земля — один из основополагающих образов советской поэзии, и Борису Укачину удалось внести в его разработку свой неповторимый нюанс. Вот он. Парень продает на осеннем рынке... землю...

Подхожу — как будто из неволи,
Из недоли собственную мать
Выкупаю!
Не сказав ни слова,
Из кармана деньги достаю,
Мне рублей не жалко,
лишь бы снова
Не услышать:
— Землю продаю.

(Перевод И. Фонякова)

На сегодня Борис Укачин автор тринадцати поэтических книг. Несколько из них — «Ветка горного кедра», «Земля голубого неба», «Я жду улетевшего лебедя», «Бег аргамака» — вышли в Москве, что показательно само по себе, свидетельство

его творческой зрелости. Не зря же в докладе на III съезде писателей РСФСР поэт Василий Федоров назвал имя Бориса Укачина среди тех поэтов России, в творчестве которых природа становится социальной темой. В самом деле, в стихах Укачина природа органично переходит в тему Родины — большой и малой — Родины, откуда ему бывает ощутимее «поступь времени по земле».

Родной край всегда был и остается для алтайских поэтов опорой номер один; с него начинают они постижение своего высокого времени, к нему приросли они сердцами. Родная природа, чувство родного края — эта основа всегда присутствует в их стихах. Но абсолютизировать этот фактор было бы неверно.

Основу поэзии Бориса Укачина хорошо почувствовал А. Макаров. Раскроем еще раз книгу «Во глубине России»: «Укачина нашим поэтом делает именно талант выражать и изображать драматические состояния души, моменты борьбы, напряжение воли, силу человеческого духа».

К этому трудно что-либо добавить, кроме того, что активность лирического характера героя была намечена уже в первой книжке поэта, где, правда, было мало места для обобщений, господствовали впечатления, рефлексии и все же именно тогда в теме ратного труда впервые выявились запоминающиеся образы, которые впоследствии усложнятся, примут философский аспект.

А пока вот он, первый хорошо запоминающийся персонаж, появившийся в стихотворении «Знак отличника». Не здесь ли начало его будущих героев, героев действия?

Он стоит в пилотке полинялой,
Вытирая запотевший лоб,
Молодой,
веселый и бывалый,
Первым в роте вырывший окоп.
Сердце парня учащенно бьется:
Сколько будет в этот день
«атак»!
На груди его частицей солнца
Светится армейской славы
знак.
Этот знак, известный всем солдатам,
В ратном добывается труде.
Говорят, доводится он братом.
Золотой, прославленной звезде!

(Перевод Б. Копалыгина)

Запоминается в ранней поэзии Бориса Укачина образ лирического героя, который остается на посту, видя стаи птиц, улетающих в родные края. «Вновь на боевом посту» он будет чувствовать себя и тогда, когда вернется к мирному труду. И тут герой будет все время ощущать готовность номер один, готовность, выразившуюся в словах: «Пусть не чистить больше мне ружья, но я вновь на боевом посту». На посту жизни.

Черные
мои глаза лучатся,
Сердцем
чувствую
весны расцвет,
О весна пятнадцатая!
Счастлив я,
Комсомольский
получив
билет.
О весна,
весна двадцатая,
Ты строга,
но это не беда.
На твоей дороге
стал солдатом я,
Я бойцом
останусь
навсегда...

(Перевод И. Фонякова)

Так бодрым армейским шагом перешел из юности в зрелость Борис Укачин и тут оказалось все очень сложно. Тема родины, органически слившаяся с темой природы и повседневного будничного героизма, потребовала новых художественных средств, новых художественных исканий.

Вначале при встрече с родным краем была декларация: «Есть такая земля». Да, есть, но и что? Земля-то была, но было мало самобытности в ее изображении, мало реалий, которых не было бы у других поэтов. И дело тут, разумеется, не в открытиях и откровениях (их может и не быть в первых стихах, к ним предстоит идти долго и упорно), но вот свое видение мира, свой строй речи, своя стилистическая окраска и свой ритм стиха — все это должно присутствовать уже в первых стихах. Характерно в этом отношении стихотворение «Русской матери», ставшее прозаическим обобщением того, что лирический герой служит с сыном русской женщины и служат они хорошо. А о самой женщине сказано крайне мало: у ней глаза голубые и руки проворные...

В начале творческого пути молодой стихотворец еще не

умел найти неповторимый образ. Отсюда скапливались, как снежный ком, и другие недостатки и самый главный из них, самый опасный — неумение вовремя остановиться, многословие. Оно погубило хорошее в основе своей стихотворение «Моя деревня», стихотворение, в конце которого есть прелестные строчки: «Мне хочется мою деревню за пазухой с собою увезти». А во всем остальном — декларативность. К тому же это стихотворение плохо переведено на русский язык. В русском бытовании оно заковано в строчки, которые не везде разделимы по смыслу и ритму.

Иное дело книга стихов «Земля синего неба».

Здесь Горный Алтай не декларируется, как прежде, — «есть такая земля». Он представлен уже в художественных образах, дающих определенные типы поведения, состояния, отношения к жизни. В новой книге поэт не просто передает свои ощущения. Он овладевает миром, находит для него эквиваленты образного выражения, становится, как и мечтал, его песней. В результате обретен уверенный взгляд на мир, познаваемый в современных связях и тенденциях. Лирика стихийного отображения переросла в лирику отражения, осмысления действительности, что хорошо отвечает творческому облику Бориса Укачина, стихи которого теперь носят философско-аналитический характер. При всем внимании поэта к повседневному быту, обыденности главное тут все-таки не быт, а личностное начало, характеры, пробивающиеся сквозь прозу жизни, точнее, их сложность. Без этого Укачина не понять.

Учась на человека и поэта, он нашел свой поэтический рецепт. Он понял главное: «человека лепит время», его неповторимое время. Оно мчится лайнерами, ракетой, но не проходит, не исчезает: растут ночами дети, стареют матери, но вечно молода поэзия, ее «мозолистые руки», участвующие в лепке человека.

Мама, у каждого человека,
Кроме родной страны,
Есть родная эпоха.
В эпоху великих войн
Среди солдат рождаются великие полководцы.
А когда люди покоряют природе
Или горят в пожаре любви
И томятся от любовного яда,
Из них иногда выходят поэты.
Мама, время
Делает человека человеком...

(Перевод Б. Слуцкого)

Природа Горного Алтая вошла в поэзию Укачина и как философское понятие и как эстетическая данность. Особенно хорошо эту мысль можно проиллюстрировать стихотворением «Раз проснулся я», посвященном матери.

Раз проснулся я: луна
У дверей — такая робкая!
Показалась мне она
Нашей белою коровкою.

Точно так она ждала —
Без мычания, без жалобы,
Чтобы ты к ней подошла,
Подоила, приласкала бы.

(Перевод (И. Фонякова)

Дальше в стихотворении «Ночь синела глубоко» поэту «приснился голос матери и парного молока кружка полная на скатерти». Это ли не поэтично? В начале пейзаж передавал состояние души поэта, теперь он осуществляет его мысли и переживания. В стихотворении «Женщина ждет ребенка» поэт впервые заметил, что человек и земля схожи: оба добрые, оба щедрые, оба красивые». Поэт «это понял и навсегда запомнил».

Моя земля свергла иго
Льда и снега.
Ее заласкали солнце и лето.
Она утопает в травах.
Она тяжело дышит,
Словно сытая корова.
Наверно, она замечталась
О плодах и злаках...
Пастушка ожидает ребенка,
Черные глаза лучатся.
В быстрых пальцах
Иголка балует с блестками солнца
Пастушка — в объятиях зеленого лета.
Они закутались в синее небо.

(Перевод Б. Слуцкого)

Поистине: «как прекрасна земля и на ней человек» (С. Есенин). Развивается и лирический герой поэта. Черты внешней активности все больше и больше уступают место перед его душевной углубленностью. Претерпевают в связи с этим значительные изменения и система самих поэтических средств. Лю-

бовь к сюжету, свободному построению стихотворения уживаются с его раздумьями и зарисовками, такими как «Женщина расчесывает ночь». Зарисовка так цельна, неразрывна, что нельзя не привести ее полностью.

Женщина расчесывала ночь,
Стоя перед зеркалом.
А мимо
Проходило солнце.
Ах, к любимой
Приласкаться и оно не прочь!
Сквозь окошко потянулось косо,
В пряди позапуталось густой...
И вплела
моя родная
в косу
Тонкий-тонкий лучик золотой.

(Перевод И. Фонякова)

Иногда жизненные реалии превращаются в сложные психологические ситуации, имеющие глубокий моральный подтекст. В результате жанры стихотворного репортажа, очерка, рассказа, характерные в алтайской поэзии только для Укачина, отступают перед монологичностью стиха.

А монологичность стиха и диалектика характера лирического героя делают жизненную ситуацию стиха художественно более убедительной. Вот пример.

Я — горного кедра колючая ветка!
Расту. Зеленею. И с первого дня
Гроза надо мной пролетала нередко
И молния косо метала в меня.

(Перевод И. Фонякова)

Прав Фоняков: «Борис Укачин — повествователь, почти каждое его стихотворение, даже короткое — какая-то история, случай из жизни, он тяготеет к жанру поэмы». К этому мне бы хотелось добавить вот что: порой мы определяем своеобразие поэта лишь его национальным характером. А дело ведь не только в том, что Борис Укачин — алтаец, дело в том, что он — личность, способная увидеть многое: он видит как «утром с улыбкой рассвет прибегает, вечером грустно закат умирает», в улыбке сына — прощение жизни, в слезе материнской — миры. Он видит, как «весенней ночью лунный свет земли коснулся чуткими лучами» и одновременно «добрый конь звезды коснулся чуткими ушами».

Такая достоверность. Однако стилевой характер его поэзии

определяется не только этими достоинствами. Настоящие поэты не только трибуны и летописцы, они еще и собеседники, которые исповедуются перед вами доверительно и честно и исповедь эта вызывает уважение. Она, исповедь, все время присутствует и в стихах, и поэмах, особенно в «Улыбке», и в прозе поэта, которая суть продолжение его поэзии.

Укачин — по-хорошему жаден до опыта, начитан, охотно учится у всех, однако его творческий путь — движение к себе, освобождение от прямых влияний. Его путь к мастерству — познание себя в контакте времени, затем исторического опыта народа и снова в обществе других. Так рождается высокая точка зрения на жизнь, так появляется в его поэзии взгляд с высоты исторической, высоты нравственной, так рождается «одно из коренных свойств поэзии — способность задавать вопросы, взращивать обобщающую мысль, искать смысл человеческой жизни» (А. Урбан).

Поэма является идейной осью творчества Укачина, она носит монологический характер. Автор не подменяет себя героем, он свободно высказывается в лирическом монологе, обращенном к современности.

Прав А. Вознесенский: «Поэты — вопросы». Уже в самом вопросе — «Кто я» — есть заявка на поиск истины. «Я» здесь неотделимо от проблем, которыми живет мир. Поэма хорошо передавала мироощущение нового человека, ставшего хозяином своей судьбы, она исследует время в перспективе. Автор видит, как трудно шел Октябрь в его края, как била ночь в шаманский бубен, как кровью истекали горы; но как славно прошли через все это к сегодняшнему дню земляки поэта. «Что бы стало со мной и с моим поколеньем, не случись человека по имени Ленин?» — вопрошает поэт, и его вопрос незаметно переходит в думу о трудном времени и о величии ленинского дела на земле.

Мы, как горы,
Как реки твои, земля,
Плоть от плоти
И кровь от крови твоей.
Оттого нам видеть невмоготу,
Коль пытают тебя
И казнят огнем,
Невозможно видеть
Твою наготу,
Видеть рваные раны
На теле твоем.
Потеряли разум
Твои палачи —
Дай им солнце,
Они и его сожрут,
Но ведь если погаснут
Его лучи —
Палачи и тогда
От могил не уйдут.
Если равными ты
Сотворила нас,
На богатых и бедных
Нас не деля,
То наказ твой
И доброго солнца наказ
Неужели не выполним
Мы, земля?

(Перевод Е. Елисеева)

Такое осознание общности всех со всеми — одна из важных черт вообще алтайской поэзии. Вот почему так трудно в ней отделить интимно-лирические стихи от гражданских. Именно это имел в виду П. Ульяшов, когда писал в «Литературной газете»: «Б. Укачин — во всем поэт и гражданин: и в своем гимне новому празднику — Дню пастуха, и в рассказе о голодном мальчишке, который думал, что «только бог может досыта хлеба поесть», и в живописании коней, что «утром... из речек пьют горный рассвет, вечерами... горный закат», и в обращении к черемухе — «застенчивым дочерям природы». И постепенно через эти характерные, отчетливо видимые детали и штрихи в нашем представлении рождается образ родины поэта — сегодняшнего Алтая, «прекрасного, как сказанье». Но не в этом ли счастье и удача поэта, сумевшего запечатлеть главное в строках сильных и выразительных, передавшего нам «щемящие запахи трав», создавшего облик родной земли: «Задремали горы-великаны, лишь один, ко сну не отходя, Юч-Сумер — водитель каравана — курит трубку синего тумана, значит, жди к полуночи дождя...» (Перевод И. Фонякова)?

В поэме «Коновязи» из истории одной семьи выведена история народа. Движение истории рождает выводы о старых коновязях, которые «плачут и грустят в веке межпланетных кораблей». «Им, недвижным, просто непонятны новые, стремительные дни». А поэту они ведомы. Поэт обладает историческим кругозором, а потому коновязи для него не просто приметы прошедшего, но и вехи памяти, вехи-главы. Главы эти продиктованы высоким патриотическим чувством, стремлением понять истоки народного характера, ощутить связь времен.

Вот первая. Коновязь кровавого Карыма, который был богат, но воровал. И возмездие наступило. Однажды в доме оказалось тело злодея. Это одна судьба. Она в поэме перечеркивается второй. Судьбой Саду Карымова, ставшего агрономом и коммунистом, сыном своей эпохи. Вторая коновязь раскрывает проблему чести и бесчестия. Старик Кылыш был партизаном в гражданскую войну, сражался за власть Советов, а сын Байрыш дезертировал с фронта. Кылыш повесился от стыда за сына. Не об этом ли плачет под звуки телетайпа вторая коновязь?

Третья глава переносит нас в урочище Каргысту. Людским радушием полон этот богатый поселок, где носят и шубы из овчины, и московские костюмы. Свадьба тут. Женится сын Бачим Орой, средний сын Кочкора, отличного наездника, погибшего от своего коня. Не будем говорить о самом описании

свадьбы. Вспомним лучше образ так нелепо погибшего Кочкора.

Ах, когда бы впрямь был жив Кочкор,
Он с детьми завел бы разговор.
Он Ороя, сына, бы спросил:
— Много ль трав ты нынче накосил?
Объясни-ка, сын, — отец поймет:
Что за штука это — стогомет?
Он сказал бы старшему: — Эндреш,
Коли ты и летчик, и майор —
Ну-ка, руку меткую потешь,
Постреляй-ка в цель со мной на спор,
Чей прицел вернее? По рукам,
Как и полагается стрелкам!
Он соседу бы сказал: — Дивись,
Нынче уж не гляжу сверху вниз
На мою дочурку Карагыс...
Скоро скажем: доктор Карагыс!
Радостно на сердце у меня:
Будет знать детей моих Алтай!
Но... коли боится кто коня,
Тот себя алтайцем не считай!

(Перевод И. Фонякова)

А кто же все-таки настоящим алтайцем может себя считать. И об этом сказано. В укачинском алтайце опыт его поколений. И в этом емкость его образа.

Да, я — алтаец! Но — другой эпохи:
Я приходил под своды Мавзолея
И с Лениным великим говорил,
Я провожал в последний путь Хикмета...
Но, колеся по Горному Алтаю,
Я слышу голос коновязей старых:
— Куда исчезло прошлое?
Я воду пью из тех же родников,
К которым прежде предки припадали,
Я солью соль зову и хлебом — хлеб.
. . . . . .
Но предки смелые мои не знали
Того, что знаю я: что будет можно
За время перекура и за время,
Пока вскипает чайник на костре,
Живую жизнь стереть с лица планеты!
Все это — мне понять и побороть!

Так в лиро-эпическом ключе создается обобщенный образ нашего современника — человека с сердцем «как большой огонь костра».

Таков его способ подхода к созданию панорамы человеческой жизни и этот способ вписывает его в общественную то-

нальность поэтического развития. Так работают Б. Слуцкий, Е. Винокуров. Изучение их опыта, жизнь родного народа позволяют дополнять эту панораму все новыми и новыми сюжетами, устремлениями к постижению человека, его сути. Отсюда проблемность, публицистичность стихов Б. Укачина, герой которых всегда занозист, угловат, нестандартен.

Время, к поступи которой Укачин всегда прислушивался, потребовало от поэта нового жанра — оперативного стихотворного очерка, рассказа, где жизненный факт главенствует над художественным выражением характеров.

Герой тут — конкретный факт, взятый из жизни, публицистическая суть событий.

В связи с этим надо отметить, что в зрелых стихах Укачина четко проявилась тенденция к ослаблению привычного «поэтизма», возросла роль факта, документа, появились очерки в стихах, рассказы, в поэзию составной частью вошла проза. Такая прозаизация стиха — структурное своеобразие поэзии Укачина последних лет. Последняя большая поэма Бориса Укачина, вышедшая только что из-под его пера: «Одинокий домик среди белых снегов».

Вещь эта не соответствует привычному пониманию поэмы. В ней не привычный сюжет и действие, а, скорее, поэтическое сопряжение многообразия человеческой жизни в суровый XX век, той суровой доли, которая выпала на долю солдата — борца против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

По характеру, эмоциональности поэма эта напоминает балладу. Она незатейлива и правдива в раскрытии жизненных конфликтов.

Поэма эта — свидетельство того, что сегодня взгляд поэта обращен не столько на себя и свои переживания, сколько вперед, в будущее, которое дается с бою. Этот же мотив выражен в стихотворении «Разговор с сердцем».

Посох странника
я тебе, сердце, вручу,
жизнь тебе покажу
и со смертью столкну.
— Если встретится смерть,
я в глаза ей взгляну
и шататься по нашим шоссе отучу.
Буду жить ей назло
и гореть ей назло,
делать так,
чтобы нам, а не ей повезло.
Мы счастливыми были
не раз и не два.
Потеряв наше счастье едва,
в новый поиск за ним уходили

и его на пути находили.
За великое счастье
готовы в огне
хоть сегодня сгореть.
А на кущее счастье
тебе или мне
неохота смотреть.
— Сколько лет тебе, сердце?
— Тридцать.
Нам еще поработать с тобой.
Будем вместе,
товарищ мой,
биться.
Ожидает нас
долгий бой!

(Перевод Б. Слуцкого)

Поистине: «И вечный бой, покой нам только снится». Через постижение человека Укачин вслушивается в поступь времени по земле. А что такое время? Время — золото? Нет. Время не самоцвет. Время — это пашня поэта, на которой зреет его гражданственность, обостряется его историческое видение, видение человека, являющегося представителем новой исторической общности людей — советского народа, видение человека, гордого этой общностью. Быть сыном гор своих и сыном века, сыном Времени — вот конечное стремление лирического героя, и поэтому напрасно некоторые читатели упрекают Укачина в излишнем ячестве. Надо понять поэта. Во-первых, любая личность невозможна без «я», настоящая личность, как правило, кроме «я», вбирает в себя еще «ты» и «вы». Во-вторых, в его «ich форме» не поэт много берет на себя, а время, воплощенное в его «я». И, в-третьих, алтайская поэзия вообще охотно занимается человеком как личностью с точки зрения поэтического «я». Сущность действительности успешно постигается в процессе самопознания. Вот почему на такого рода упреки мне всегда хочется ответить стихами латышского поэта Иманта Зиедониса, которые хорошо дополняют литературный портрет Бориса Укачина.

Чуть скажешь «я» — сейчас же грозно
Перед тобой встает судья:
Стишок звучит претенциозно!
Что означает это «я»?
Поэт, наверно, просто молод
И по-мальчишески нахал,
А, может, быть, за строчкой — голо,
И это лишь самонакал?
Самонакал... И впрямь похоже:

«Я, я!» — поэт гудит трубой,
А люди слышат: «Вы! Вы тоже!» —
И молвят: «Многие с тобой».
Он с жизнью не играет в прятки,
Сам выбирает, что острей,
Не принимает на дух гладких,
Довольных гладкостью своей.

Последняя работа Укачина — новая неожиданность. Он создает большой цикл коротких афористических стихов «Эхо Горного Алтая».

Присуще небу — высоким быть,
Присуще горам — высокими быть.
А что присуще тебе, Человек?
Тебе присуще Высоким жить!

Или:

Повстречав медведя, не пугай
Тем, каков охотник твой отец:
Выручит тебя твое ружье,
Твой летучий выручит свинец.

(Перевод И. Фонякова)

Стихи эти — благодарность народу, «чья речь бессмертно жива», чьи слова лучатся «семидесятью лучами». Из них вырастает образ думающего народа. Эти емкие афористичные строки, столь органичные для национальных особенностей мышления, есть свидетельство того, что поэт не повторяет прежних находок, он идет от книги к книге, к новым творческим высотам.

Вот и сегодня в его поэзии наметились новые тенденции, являющиеся результатом активного приобщения поэта к жизни народа, к общесоюзному литературному процессу. Сам поэт говорит об этом так: «Что дал литературный институт? Думаю, что кроме прекрасных лекций о литературе и искусстве, которые в течение пяти лет читали нам такие мастера словесности, как Геннадий Поспелов и Валерий Кирпотин, Сергей Артамонов, Валентина Дынник и многие другие, литинститут дал мне возможность лично познакомиться и дружить со многими поэтами и прозаиками нашей страны.

...Кто как, а я лично горжусь, что учился в Литературном институте и именно в его стенах имел возможность общаться и дружить с такими поэтами наших братских литератур, как Фикрет Ходжа, Газим-Бек Багандов, Ахмат Кубанов, Василий Белов, Игорь Шкляревский, Руслан Киреев и всем нам бесконечно дорогой Николай Рубцов...»

В прекрасной поре творчества сегодня Борис Укачин. Поэ-

зия его — визитная карточка поэта, а, может быть, и алтайской поэзии. Об этом писал недавно в «Литературной газете» критик Павел Ульяшов, подметивший, что строки «Ночь, Алтай. Луна, как сережка. Четкий профиль горной гряды. Можно трубку, привстав немножко, раскурить от любой звезды», — «могут стать» литературным паспортом» Алтая в советской поэзии»...

...И последнее. Укачин с самого начала творчества в числе тех, кто много и охотно переводит на родной язык произведения М. Ю. Лермонтова, К. И. Чуковского, Ч. Айтматова, И. Ерошина, С. Михалкова и других. Переводы эти обогатили алтайскую литературу и творчество самого переводчика.

Дремлет мир под звездами большими,
Только я не сплю да ты со мной.
Тихо-тихо,
«Горные вершины»
Вспоминаю,
спят во тьме ночной».
Чуть курятся
синие отроги,
Птица на ветвях не засвистит,
И прямой,
по-лермонтовски строгий,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Пусть и дальше по-лермонтовски строгий перед ним кремнистый путь блестит, и на этом пути зеленым пламенем надежды светит ветка горного кедра, ставшая в поэзии Бориса Укачина символом алтайского национального характера.

ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ ЧЕЛОВЕКА

Лишь когда человек
человечен,
он — человек.

П. Самык.

Эпиграфом данной рецензии взяты строки из стихотворения П. Самыка «Античеловек», вошедшего в сборник поэта «Песнь моя — Алтай».

На русском языке это — первая книга поэта, но в известном смысле для Самыка она итоговая: в нее вошли лучшие стихи четырех предыдущих книг, изданных на алтайском языке. Название ее, прямо скажем, не оригинально и даже банально, но сами стихи, дающие представление о творческом росте поэ-

та, заслуживают внимания. В них просматриваются и художественный мир Самыка, и современные искания алтайской поэзии в целом, стремящейся вырваться из монотонного ряда традиционности:

Я слишком человек,
чтоб киснуть в кабинете!
Я слишком жизнь люблю,
чтобы тонуть в бумагах!
Я рву цветы, шагая по планете,
бросаю в воду камешки
с размаха!
Иду полянами — прекрасными
коврами.
Я — человек
в эпоху человека,
иду свободный
по земле свободной!
Мое ценнейшее богатство —
звезды,
и есть ли что дороже!
Мой дом роскошный — этот
мир огромный,
и есть ли кров уютней!
Кто думает не так,
тот многое теряет,
он обокрал себя,
он счастья не познает.

Читая эту книгу, мы с удовлетворением констатируем, что, не повторяя себя в поэтических находках, в душевной, личностной основе, Самык остался прежним, каким был в начале своего творчества. Его стихам свойственна искренность и страстность, они полны юношеской неукротимости. Поэт хотел бы иметь самых верных, смелых и самых умных друзей, он ищет самой чистой, нежной и крепкой любви, он весь «любовь и доверье», в каждой девушке встречной он «хочет «видеть» образ Джоконды вечной, в каждом дереве — музыку, что не звучала нигде... И подмигивающую тайну — в каждой звезде!» Все как прежде, вместе с тем чувствуется гражданское возмужание поэта, пришедшие к нему в последние годы вместе с лучшими стихами.

День ото дня
к людям любовь
растет у меня.
День ото дня
революции понимание
растет у меня.
День ото дня
расцветает моя
человечья суть:

в каждом цветке
я вижу улыбку свою,
в каждом ветвящемся дереве —
контур моих раздумий,
в каждом встречном человеке —
себя узнаю.

В этих строчках, взятых из стихотворения «Сердце мое» (перевод И. Фонякова), открывающего сборник, — суть поэтического пафоса Самыка. Гуманизм, высокая гражданственность — именно они делают поэта одним из ярких представителей алтайской поэзии.

Он — поэт редкой раскованности и свободной манеры. Но он не упускает из виду и дисциплину стиха. Его произведения в большинстве случаев — композиции, рассчитанные скорее на ораторское произношение, чем на простое чтение. Они мускулисты и графичны настолько, что временами кажется поэт вот-вот впадет в голую публицистику и риторику. И это иногда происходит — свидетельство тому стихи «Так жить!», «Не хнычьте», «Я сам», «Истинное счастье». Но чаще всего от риторики спасает все та же искренность, метроном сердец земляков «неподкупных и строгих».

В кош-Агачских степях
злые ветры свистят.
Там белки, как клинки,
в синей дали блестят,
Зиянуров,
товарищ,
припомни, как мы
заблудились дорогой
в «Кызыл маяны»
и попали
в алтайско-казахский
колхоз.
Было войлочных юрт,
что стогов в сенокос!

Там на землях песчаных
стары пасет
богатырский
(а значит, и добрый)
народ.
Слава гостеприимству!
Были речи просты.
Угощали нас щедро —
от всей доброты!..
Ну, прощай,
Кош-Агач!
Скоро встретимся вновь.
Этот стих мой — ответ
на привет и любовь.

Своеобразие поэзии Самыка, резко отличающее его от других алтайских поэтов, не в метафорическом ряде, присущем стихотворному строю большинства из них, а в особом интеллектуальном сгустке чувств, в экспрессивности мысли, разворачивающей красочную панораму мира, в органической связи слов и образов, в вольном ритме, влияющем себе композицию стиха. Формы поэтики XX века он соединяет со своими жизненными впечатлениями и традициями фольклора так, что они не противоречат друг другу. А его поэзия связана уже не столько с традициями фольклора, сколько с поэтикой сегод-

няшнего дня. От нее у поэта и конкретные представления, и отвлеченные понятия, отдаленность ассоциаций, передача жизни через импровизацию, некоторая фрагментарность.

Все это связывает поэзию Самыка с принципами П. Элюара, Н. Хикмета, У. Уитмена, П. Неруды, Н. Гильена, Э. Межелайтеса, Б. Слуцкого, Севака, Л. Мартынова, О. Сулейменова. С ними его роднит даже не свободный стих, а чувство органической слитности с миром и активная любовь к «человеку в эпоху человека».

Поэт не живописует словом, он мыслит, иначе говоря, действует им, как матадор шпагой, и от этого вся поэзия его, созданная на сегодня, воспринимается как одно непрерывное стихотворение, как гимн сущему. Не музыкой, а ритмом, который одновременно и свободен, и напряжен в своем внутреннем единстве.

Если уж говорить о его стихах относительно их музыкальной организации, то нельзя не заметить, что структура их фугообразна[1].

Мой Алтай,
высота голубая твоя,
мой Алтай,
чистота голубая твоя,
мой Алтай,
доброта голубая твоя.
И душа моя будет
покуда жива,
будет жить в ней,
светла, молода.

Синева,
синева,
синева,
навсегда,
навсегда,
навсегда.

На образности Самыка стоит неизгладимая печать народного творчества, сообщая его поэзии неповторимую национальную специфику. Особенно это заметно в стихах, созданных как подражание эпосу, «Восхваление красоты Алтая», «Песнь батыра врагу перед боем» и в стихотворении «На Кадринском перевале», оживляющем дорогие народу образы Алтай-Бучая, Алып-Манаша.

В этой небольшой рецензии, к сожалению, нет возможности вдаваться в филологический анализ поэтики Самыка. Но уже

---

[1] Фуга — последовательное повторение одной музыкальной темы несколькими голосами.

из сказанного видно, что в алтайской поэзии у Самыка свое, присущее только ему место. В общую тональность он вплетает свой голос, характерный для поэтики XX века.

Но главное для поэта — его родная почва. Она определяет его дарование, она превращает его стихи в духовную хронику личности нашего современника. Хроника эта передает и состояние мира, состояние, куда входит и Горный Алтай с его деревнями, которые, «как гнезда ласточек», лепятся по подножиям гор, и музыка М. Теодоракиса, и «Витязь в тигровой шкуре», и батыр, вышедший на бой со злом, и ветер вершин, и отец поэта, его мозолистые рабочие руки...

Так складывается основной герой лирики Самыка — «человек в эпоху человека», изображаемый в становлении.

Коня седлаю, выезжаю в горы,
разглядываю спящие туманы.
И у костра пастушеского
спешась,
вдыхаю воздуха пленительную
свежесть.
Неспешные ведем мы
разговоры
о том, о сем и чай
мы пьем степенно...
Я — человек, в гостях
у человека,
в желанном мире здесь я —
гость желанный!

Сборник «Песнь моя — Алтай» еще одно свидетельство того, что в поэзии родного народа Самык выступает как новатор. Обновление касается главным образом не содержания, а поэтических форм. Он отталкивается от силлабической системы стихосложения, тяготея к белому стиху. Инерцию формы он преодолевает за счет сочетания возвышенного с обыденным.

Об активном творческом отношении поэта к слову можно судить по стихотворению «Сыну Эркину», имеющему подзаголовок «Стихи с неологизмами». Оно так органично присуще поэзии Самыка, что стихотворение хотелось бы привести полностью.

Мой сын Эркин родился
на Алтае.
В его крови —
алтаинка родная.
Он отчий край полюбит
сердцем чистым,

алтаелюбом станет,
алтаистом.
Родясь в горах,
наследовал он горство:
стремленье ввысь,
бесстрашье и упорство,
а вырастет он —
станет истым горцем,
горопроходцем будет,
гороборцем.
Родился он среди родной
природы,
ручьев родных его
вспоили воды,
он вырастет здоровым,
белозубым,
природолюбом будет,
конелюбом.
О, да, друзья, он будет
смелый конник,
песнепоклонник
и танцепоклонник.
Он будет мчаться по горам
и рекам,
взлетать на лыжах —
птицечеловеком!
Так будет жить он,
духом вырастая,
в стране добра, в коммуне,
в Добростане,
когда исчезнут все следы
Злоцарства,
всегда он ценит
в людях чистосердство,
пусть, веря человеческому
взгляду,
находит в добротворчестве
отраду.
Пусть и сынам,
когда черед ударит,
Алтайчество, как отчество,
подарит,
пусть и они воспримут
сердца глубью
Народознанье и отчизнелюбье!

(Перевод И. Фонякова)

В стихотворении не только неологизмы, но и оказионализмы (личные слова поэта), из которых они превратились почти в неологизмы.

Кстати, о переводах. Самыка русскому читателю представили Ю. Гордиенко, Г. Панов, А. Ревич, И. Фоняков. Особенно

много потрудился И. Фоняков: из сорока четырех произведений, представленных в книжке, сорок одно переведено им.

В основе своей он передал эмоциональный накал поэзии Самыка. Стихотворная техника переводчика виртуозна, но именно это нередко и вступает в противоречие с неприглаженной, занозистой поэтикой оригинала. Встречаются в переводах следы спешки, невыразительные, стертые слова, которые в оригинале выступают как самоцветы... Думается, что при поднесении всесоюзному читателю поэзия Самыка заслуживает более бережного к себе отношения, хотя бы потому, что несет в себе пафос интернационализма.

В поэзии Самык почти всегда бывает на уровне. Я говорю «почти», ибо мое уважение к нему, как к поэту, не позволяет мне быть неискренним.

Наши недостатки нередко есть продолжение наших достоинств. Страстная интонация Самыка нередко оборачивается риторикой и заданностью. И тогда конкретные переживания переходят в общие слова, которые из силы поэта становятся его слабостью.

И все же, заканчивая свою небольшую рецензию, я могу уверенно сказать, что разговор поэта со временем идет в русле времени. В будущем он ищет своего современника и это, в конце концов, несмотря на некоторые издержки, делает его поэтом сегодняшнего дня, поэтом, живущим в ладу со «стальными мышцами диалектики». Именно во имя лучшего отражения сегодняшнего дня он синтезировал в своей поэзии национальные традиции восприятия поэтического с лучшими достижениями современной поэзии. «Все превратности жизни стерпя», он прославляет то, что сильнее всего волнует всех, что стало устойчивой чертой его поэтического почерка — человека в эпоху человека.

«НЕЛЬЗЯ ЧТОБ ЧЕЛОВЕК НАПРАСНО ЖИЛ...»

...Биография Константина Козлова, связавшего свою судьбу и творчество с темой Горного Алтая, обычная для людей его поколения.

Родился он в 1919 году, когда Октябрю было два года. Октябрь — это обновление планеты. Он-то и дал большую зарядку творчеству поэта, зарядку неиссякаемой молодости и глубокого оптимизма. Чувства Козлова-поэта — это чувства первопроходца, открывающего в поэзии лирические стороны долин голубого Алтая.

В одном из своих стихотворений—«Строитель»,—тёплом и но-

сящем программный характер, поэт без позы и декларативности выражает свои сокровенные думы и мечты. Нет, он не хочет жить праздношатающимся обывателем. Вот его жизненное кредо:

Я так прожить свои года хочу,
Чтоб молодость усталости не знала.
Ходила в бой, водила поезда,
Рвала на части скалы аммоналом,
На пустошах воздвигнув этажи,
Врывалась в шахту с песней на рассвете...
Когда страна потребует: — Скажи,
Что сделал ты, живя на этом свете?
Чтоб заново однажды подытожив
Свои стремленья, все свои дела,
Я мог ответить:
— Да, я честно прожил!
Нет, не напрасно жизнь моя прошла.
Взгляни вокруг: могучими руками
Я создал быль из сказочной мечты.
Прислушайся:
Здесь шепчет каждый камень,
Как благодарность:
— Это строил ты!
Чтоб молодость усталости не знала!

Да, это и есть лейтмотив его поэзии, основное устремление его души.

Университетом Константина Козлова была сама жизнь, поворачивавшаяся к нему и гладкими и весьма острыми гранями. Он же не роптал на нее. Из каждого ее зигзага он извлекал поэзию, которая однажды — какое это счастье! — властно подчинила его себе, увела его в волшебный мир, сделала его в нем своим человеком. «У поэта нет карьеры, у поэта есть судьба».

Поэтическая судьба Козлова, благодаря его даровитости, оказалась счастливее житейской. В ней он не был сиротой, в ней он нашел себя. Для своей учебы он выбирает творчество лучших советских поэтов, таких, как Николай Тихонов, Эдуард Багрицкий, Борис Корнилов, Алексей Сурков. А постоянной его темой стал все-таки Горный Алтай, который «он открывает на карте русской поэзии вслед за Ильей Мухачевым». Так сказал о Константине Козлове его собрат по перу Марк Юдалевич. Он же, пожалуй, лучше всех определил характер музы горно-алтайского поэта.

Стихи Константина Козлова романтичны. Он выбирает не обыденные ситуации, а такие, в которых сразу видна цена человеку, до предела напряжены и физические; и духовные силы его. Поэт славит мужество, проявившееся в труде и в борь-

бе. Строители, геологи, плотогоны, охотники, чабаны, пастухи, оленеводы, ученые — вот герои, населяющие его книги. И с особым душевным подъемом, сочетая легкий лиризм с публицистическим накалом, острый балладный сюжет с углубленными раздумьями, поэт говорит о тех, кто подставляет плечи под любую тяжесть, кто прошел военными дорогами, кого в трудные годы видели в продотряде, кто выводил первый трактор из заводских ворот, чей пробитый вражьей пулей партбилет хранится в музее.

Козлов пишет о современности, пишет о коммунистах, он создает новый эпос — эпос наших дней, но видение его исторично и национально определенно. Вот одно из таких стихотворений, которое мы приводим здесь полностью, чтобы еще раз подчеркнуть эпическую линию, проходящую через его творчество, но звучащее партийно, по-современному:

Поджав по привычке ноги,
Волшебствуя над пиалой,
Сидят они, словно боги,
Беседуют меж собой.
Обветренные, как скалы,
Седые, словно белки,
По-ихнему — аксакалы,
По-нашему — старики.
Не те, что дружа с кораном
И чтя родовой закон,
За стадо жирных баранов
Брали красивых жен;
Не те, что восточной лестью
К сердцам находили след...
Их трое и всем им вместе
Без малого триста лет...
Их путь не коврами устлан,
Им благ судьба не дала.
Как юрта, в которой пусто,
Пустою их жизнь была.
И каждый по скользким кручам
Вслепую, на ощупь брел.
Известно, не взмоет к тучам
С подбитым крылом орел!
. . . . . .
Так было зимой и летом,
И было бы вечно так,
Когда бы в лучах рассвета
Не взвился над степью флаг,
Который в жилье пастушьем
Костром озарил углы,
Согрел человечьи души
И вывел из вечной мглы.
Вставали над степью зори,
Шумели ливни в ночах,
Они поднимали в гору
Колхоз на своих плечах.
Под небом звездным и чистым,
Волшебствуя над пиалой,
Сидят они — коммунисты,
Беседуют меж собой.
Обветренные как скалы,
Седые, словно белки,
По-ихнему — аксакалы,
По-нашему — старики.

Сама история врывается в стихи Козлова, сама революция которой нет конца, обретает себя в них. Приметы сегодняшнего дня еще ярче оттеняют нелепость вчерашнего, и в душе читателя нарастает ощущение завтрашнего дня, который жаждет обрести себя, но не в себе самом , а в явлениях героического характера. Даже пейзаж у Козлова и тот напряжен, тревожен, полон драматизма.

Тайга в золотистых накрапах,
К коряге, где ветки сплелись,
Пружиня когтистые лапы,
Приникла пятнистая рысь.
Еще далеко до рассвета.
Повисла луна на сосне.
Безмолвье ночное... Лишь где-то
Бормочет ручей в полусне.
Вдруг шорох стремительно быстрый
На тропке таежной. И враз
Зловещие вспыхнули искры
В зрачках аметистовых глаз.
И, вздрогнув, на сучьях сосновых
Качнулась неловко луна.
Прыжок...
И тревожная снова
В распадках стоит тишина.
Лишь в сумраке сонно и глухо
Ручей свою песню поет...
А в дебрях лесных маралуха
Кого-то зовет и зовет...

Пейзаж этот характерен для Козлова, но, исходя из него, не надо понимать поэта как человека, который не знает цены мирным картинам жизни. Козлов — не Киплинг. Мир для него не только извечная борьба, но и гуманность, доброта, величавое спокойствие. У Козлова в стихах нет идиллий, но идеал у него есть; он диалектически сложен. С одной стороны, это Сухов, командир Долгих, челушманские коммунары, с другой, — мирный человек — охотник Клык, который «чуть заплещет зорька над полянкой, свежаком потянет от реки» уходит, перекинув через плечо берданку, зверовать на белки. По пути он ведет разговор со зверями, общается с матерью природой, извечной, как сама жизнь.

Много здесь в тайге
Его знакомых.
Вот он свистнул
Тоненько в манок,
И ему из чащи буреломной
Отозвался
Шустрый колонок.
Свистнул он —
Зашелестели ветки,
Кабарга
Мелькнула вдалеке,
Косачи
Невиданной расцветки
Собрались
На ток в березняке.
Пусть они
Токуют на полянке,
Пусть резвятся
В тишине лесной,
Старый Клык
Не снимет с плеч берданки,
Он пройдет
От птицы стороной.
Неспроста
В народе говорится
(то поверье
с давних пор живет):
Тот, кто взял
Хоть раз
На мушку птицу,
Тот большого зверя
Не убьет!

Уже по этому стихотворению видна еще одна особенность, характерная для творчества Козлова, — его привязанность к алтайскому народному фольклору. Алтайские легенды и сказки, народные предания, местные модуляции — все это используется часто и оправданно, все это придает его творчеству национальный колорит и достоверность. В качестве примера приведем один отрывок из его широко известной и не раз переиздававшейся поэмы «Сказание о богатыре Сартакпае».

Синегорье, край волшебный,
Расскажи мне, где родился
Богатырь могучей силы
Сартакпай чернобородый?
Его мускулы узлами,
Как наросты на березе,
Брови черные густые,
Как разросшийся кустарник.
С давних пор живет он в юрте,
Крытой кедровой корою,
На подошве Синегорья,
В устье Чуи быстротечной...
...Если птица пролетела
У него над головою,
Шестигранною стрелою
Из-за туч ее сбивал он.
Если молнией по лесу
Пробегал марал рогатый,
Быстроногого марала
Бил без промаха он с ходу...
А когда садилось солнце
За туманные отроги
И на звездный полог неба
Поднимался тонкий месяц, —
Ржал пятнистый иноходец,
Унося быстрее ветра
Сартакпая к устью Чуи,
Через горы и долины.

Эта же поэтика алтайского героического эпоса сообщает его поэмам такую выразительность и свежесть! Вот уж поистине русские поэты в состоянии понять мотивы и образы других народов, как свои собственные! Не потому ли в данном случае можно отдельно и много говорить о его переводах с алтайского? Стихи многих известных сегодняшних алтайских поэтов впервые заговорили на русском языке с его голоса, он донес их первые, несовершенные стихи до русского читателя. Он переводил Укачина, Палкина, Кокышева, Адарова, и все они благодарны Константину Ивановичу за его подвижнический труд, все они видят в нем собрата по перу, внимательного к поэзии гражданского накала.

А у Константина Козлова, даже несмотря на его уже немолодой возраст, еще все впереди, ему много предстоит еще сделать в области создания новых произведений, радующих читателей напевностью, яркой образностью и глубоким смысловым содержанием. Как духовная исповедь и наказ своим современникам звучат программные строки:

Нельзя, чтоб человек напрасно жил!
Чтобы когда-нибудь свой путь итожа,
Взглянув назад с последнего пригорка,
Своих следов нигде не обнаружил,
Как будто вовсе на земле он не был...
Нельзя, чтоб человек, взглянув назад,
Не обнаружил на родной земле
Ни деревца, которое бы он
Садил своими сильными руками,
Ни кирпича, что уложить бы мог
В могучие громады вечных зданий,
Ни слова меткого, которое потомкам
Поведало б о правде наших дней.
Украсить эту землю должен каждый,
Оставить лучшее, как благодарность
За музыку, что из души рвалась
В погожий день, в веселый день весенний,
За степи, где в тиши лесополос
Волнуется пшеница золотая.
За реки, где в прозрачной глубине
Подобные неуловимым теням
Тяжелые мелькают рыбы,
За лес, пропитанный смолистым ароматом,
За светлые огни электростанций,
За тот подъемный кран, что тащит плиты
На высоту тридцатых этажей,
За красный флаг республики Советов,
С которого сверкают серп и молот,
Как вечный символ мира и труда.
Нельзя, чтоб человек, взглянув назад,
Своих следов нигде не обнаружил,
Как будто вовсе на земле он не был...

И ОПЯТЬ ДОРОГА ВПЕРЕДИ

Это аксиома, что у каждого поэта должно быть свое, присущее только ему, неповторимое видение мира, но как часто оно отсутствует в опубликованных стихах. У Кондакова оно есть. Он — поэт, поэт по сути своей, по устремлениям, по видению, которое сформировалось в грозовые годы войны и дает знать о себе и сегодня.

Из песен, в доме нашем петых,
Одну запомнил навсегда.
Ее отец мой пел, и это
Вовеки не сотрут года.
Он, ворот распахнув рубахи,
Пел песню голосом хмельным:
«Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним».
Все гости сразу затихали,
Они-то знали песни соль,
Отцу протяжно подпевали,
В словах выплескивая боль.
Нестройно голоса звучали,
И был мотив у песни прост,
И было столько в ней печали,
Что бабы не скрывали слез.
Сердца всё видевших ранимы,
Сердца мальчишечьи — вдвойне.
Как пелось в песне той старинной,
Отца убили на войне.
«Отец мой был природный пахарь»
Услышу, вспомню про войну,
Рвану я ворот у рубахи,
Лицо в ладони уроню.

Вот с каких переживаний начинался поэт, родившийся в Горном Алтае и вернувшийся сюда же после окончания Новосибирского пединститута. Здесь, в 1959 году, работая учителем школы, выпустил он свою первую книжку стихов «Подлесок», здесь стал поэтом.

О чем бы ни писал поэт, куда бы ни уносилась его неутомимая мысль — всюду в его стихах или в их подтексте присутствует Горный Алтай, названный им однажды «Высокой землей».

Так назывался его второй поэтический сборник, во многом определивший творческое своеобразие поэта, его лицо, лицо человека, влюбленного в свой край, в свою поэтическую родину. Не в этом ли притягательность кондаковских стихов, не в этом ли сила его негромкого, но всегда искреннего голоса? Как большую страну открыл Кондаков для себя Горный Алтай и он стал для поэта неиссякаемым источником высокого вдохновения, превратившего его стихи в гимн жизни, красоты человека.

Самые задушевные слова находит автор, когда говорит о Горном Алтае.

По ковровым дорожкам
Альпийских лугов
Поднимаюсь я в дом
Голубой и просторный,
Раздвигаю я тюль
Кучевых облаков,
Небо плещется рядом,
Как озеро горное,
В этом доме растут
Всех оттенков цветы.

На смоле и на меде
Настоен здесь воздух.
От стены до стены
Надо месяц идти.
Потолок его поднят
К сверкающим звездам.

Вышеприведенное не просто красивая зарисовка, а подступ к основному — к образу отважных людей: плотогонов, скотоводов, горняков, чей самоотверженный труд поднимает нашу землю еще выше. Великолепно в этом смысле стихотворение «Высокая земля», которое кончается словами не пророка, но человека, знающего труд земляков не понаслышке.

Я степи твои, Кош-Агач, обнимаю,
Я слышу твой голос в ночах ветровых,
Тебя, Кош-Агач, высоко поднимает
Чудесная слава о людях твоих.

Конечно, высоки наши поднебесные горы, увенчанные белыми шапками вечных ледников, но не ими в первую очередь славится наша земля. Славна она делами немногословных людей, перекочевавших в стихи поэта из самой жизни, утвердившихся в сердцах читателей.

Вот стихотворение «Артисты» из третьей книги поэта, названной поэтично и просто «Эдельвейс»:

В ущелье ветер,
Злой и резкий.
Взметнулись скалы к облакам.
И по распутице апрельской
Артисты едут в Улаган.
Уже поет
Земля ручьисто,
Дорога,
Как в ненастье ночь.
Автобус стал,
И вот артисты
Сошли — водителю помочь.
Им все превратности
Знакомы,
Но это не бралось в расчет.
Летят в лицо им грязи комья,
Их едким дымом обдает.
Артисты льгот не ждут особых
И помощи извне не ждут,
И обессиленный автобус
На собственных руках несут.
В грязи остался непролазной
След туфелек,

Разбитых в прах.
Но состоялся все же праздник
В селе,
Затерянном в горах.

Не исключено, что на этом празднике артисты областной концертной бригады, о которых идет речь, исполняли песни и на слова Георгия Кондакова. Их немало в репертуаре концертных бригад.

Вот такие герои у Кондакова — мужественные, тонко чувствующие люди. Это они делают нашу землю красивее, выращивая на ней детей и цветы, это они день и ночь ведут по Чуйскому тракту машины, это они — творцы золотого руна, это они идут по земле, радуясь росту других и не замечая, как стареют сами, это они схватывают на полотно красоту отчего края и она, как солнце, светит для людей. Это они...

Впрочем, все они тесно связаны и оттенены еще одним образом — образом лирического героя, который проливает дополнительный свет на все творчество поэта. Он как бы сливается с поэтом и зачастую говорит его голосом, голосом человека, живущего на краю России, но связанного со всем миром. Богатый человек Кондаков и щедрый. С легкой руки очарованного множит он мир на своеобразное видение и мир от этого хорошеет. Честное слово, он становится многогранным, насыщенным музыкой жизни.

В России — белые деревья
И луг росистый нараспах.
И не смогу вовек стереть я
Клубничный запах на губах.
Пройду по тропке неторопко,
Притихну я в березняке,
Где молодая белоствolка
С зеленым зонтиком в руке.
Зимою долгою и летом
Белым-бело в родном краю.
Березовым стараюсь светом
Я душу высветлить свою.
Горжусь: не на словах —
на деле
Я связан с этою землей,
Где светят белые деревья
Коротким летом и зимой.

Когда я читаю стихи Георгия Кондакова, я лучше понимаю слова психолога Выготского о том, что смысл слова в конечном счете упирается в понимание мира и во внутреннее состояние личности в целом. По стихам Кондакова можно просле-

дить его эволюцию, хотя это не так-то уж легко: пишет он ровно и идет вперед неторопливо, но верно. Культура его стиха — в незамутненности его чувств. С ростом мастерства, по мере возмужания чувства его как бы уходят внутрь, в подтекст, а в словах остается только четкий графический рисунок душевного состояния. Он, этот рисунок, целомудрен и выразителен, как алтайская песня.

Земля! Ты с каждым днем
дороже...
Что ты врачуешь, не
скажу.
Простой сорву я подорожник
И к своей ране приложу.

Твоим ручьям, кустам
калины.
Земля, я не скажу
«люблю».
А просто встану на колени,
Из родника воды попью.

Стихи его — не калейдоскоп психологических переливов. При всем своем разнообразии они едины по своей устремленности. Они множат мир образами, которые призваны сделать человека лучше.

Стихи его нередко конфликтны.

Понятно каждому:
молчанье свято,
Когда ведут нас на допрос враги.
Молчание такое,
как граната,
Что цепи рвет на мелкие куски.
...Я вижу:
некто подлость совершает,
Я вижу это ясно,
но молчу.
При встречах —
как здоровье? —
вопрошаю,
Готов его похлопать по плечу.
Молчу,
хотя в душе моей гроза,
Хотя молчать я права не имею.
Я должен правду
высказать в глаза,
Я ж перед ним,
как девушка,
краснею.
Молчу.
А он втоптал святыню в грязь.
Не избегу и я его навета.
Кляну себя.
Приходит горький час —
Мы кровью платим
за молчанье это.

Поэзию Кондаков находит в самых что ни на есть обыкновенных вещах и явлениях. И умеет передавать ее. Казалось бы, что такое «Плач-скала»? «Обыкновенный камень, вымытый дождями до бела». А под пером поэта он стал поводом к серьезному эмоционально окрашенному раздумью о годах гражданской войны, когда лучшие сыны и дочери Горного Алтая не щадили своей жизни в борьбе за установление Советской власти.

Меня не устает восторгать небольшая миниатюра, которая называется «После работы». В ней романтически приподнят тяжелый труд тракториста.

Вот она, блаженная минута,
Руки в воду опускаешь ты,
И от руки, испачканной мазутом,
Расцветают на воде цветы.

Такие и только такие стихи, приоткрывающие мир с новой, неожиданной стороны, обогащающие наши представления о нем, имеют право на существование. В противном случае поэзия — пустое времяпрепровождение, графоманство.

В стихах Кондакова много запоминающихся находок, гораздо больше, чем можно представить, глядя на их небольшие объемы. Так, дорога, петляющая по Чике-Таману, сравнивается с арканом, накинутым на плечи гор, безводная степь Кош-Агача — с выцветшим плащом, смола — с кровоподтеком, осенняя листва — с березовым пожаром.

Мы не сказали о поэтических средствах его стихов, о разнообразии размеров и неожиданных рифмах. Обо всем этом, чтобы исчерпать наблюдения, надо говорить специально.

В Кондакове меня больше всего радует и поражает его ни с чем не сравнимая любовь к волнующему поэтическому слову, стремление «возвратить словам их первозданное, то есть самое чистое и самое весомое значение», дойти во всем до сути и совершить тем самым то, что является смыслом любого поэтического творчества.

Двадцатый век не сыплет с неба манной,
Он сбрасывает с трона королей.
В двадцатый век в морях и океанах
Немало затонуло кораблей.

Ушли на дно, свое не отработав,
Отпели отходную им ветра.
И им со дна морского встать не просто:
Над ними зыбкой зелени гора.

Шли в ураган, шли в бой, не зная страха,
Как воины, отвагою горя.
И вот на них зеленую рубаху
Надели океаны и моря.

А что им там, в глухой пучине, снится?
Бой,
что не кончен,
снится кораблям.
Над ними звезды —
как надежда сильных,
Решетки водорослей по бокам.

Разговор о поэте был бы неполным, если бы мы не сказали о его переводческой работе.

Проблемы перевода незыблемы. Тут надо знать язык, чтобы найти лексические и ритмические соответствия. Кондаков его знает и это помогает ему делать верный выбор. Он переводит не всех поэтов, а только близких своему душевному строю. Это помогает высококачественно воссоздать оригинал.

Ты зашел в тупик.
Обеспокоен:
Нету выхода.
Тревожит страх.
Не отчаивайся —
и такое
Иногда случается в горах.

В скалы
упирается
дорога,
Кажется,
Что дальше нет пути.
Ты шагай —
Расступятся отроги,
И опять дорога впереди.

«КАКОЕ СЧАСТЬЕ — ПОНИМАТЬ...»

Передо мной книга Ильи Фонякова «Горсть». Название, признаться, поначалу озадачило меня. Горсть? Чего? Миниатюр. А поэт всегда был щедр на стихи, отдавал их читателю пригоршнями, если говорить фигурально. На этот раз они составили горсть, ибо в миниатюрах не более двенадцати строк в каждой, а то и меньше:

Как странно, что немолоды уже
Марат и Октябрина, что заметно
Стареет Ким,
и видел я вчера,
Как нянчит внуков бабушка Идея...

Очень плотна смысловая насыщенность стиха Фонякова. Этим он заявил о себе с первой книги и вот по прошествии многих лет мы видим, что это качество его поэзии все крепло и приобретало все большую емкость. В этой маленькой книге вместилось много всего, что даже простой перечень грозит за-

тянуться. Поэтому назову только то, что, на мой взгляд, наиболее зримо отражает характеры людей и приметы времени. Вспомните — подросток, к которому трудно найти подход, но надо; учитель с ветром вдохновения в седых кудрях, с мелканием искательности в глазах; академик — простая душа; бог Библии, лишенный логики; подснежник, который, должно быть, солнце тянуло за уши; политая кровью земля Крыма, Дальний Восток; хиппи, узнавшие тяжкий груз пустоты; шестеренка на ладони сына, похожая на цветок; заграница, увиденная и помаяковски, и по-фоняковски. И рядом с этим реальные лица: И. Мухачев, В. Скот, Дон Жуан, Хэмингуэй, Антониони и Куба, у которой пушкинские губы... Словом, не просто жизненные факты, а факты, ставшие чудесами, поступившие в распоряжение поэзии, как в стихотворении «Ровесники».

Этот город строил Вовка,
А дорогу строил Левка,
Мост построен по проекту
Ваньки, что женат на Таньке,
А директором завода
Был на днях назначен Санька,
А Володька пишет книги,
А Сережка за границей,
А у Юрки внук родился...

Вот какие чудеса. И они не единичны в жизни и все их видит зоркий взгляд поэта.

Основное достоинство книги Фонякова в том, что в его «Горсти» история органично слита с современностью. Сдвигает их, на мой взгляд, личность поэта-путешественника, который всегда в пути и который никогда не умывает руки перед свершающимся на его глазах: он несет ответственность за все, что «рядом и вокруг». Такая уж у него завидная доля быть летописцем сурового XX века — современника всех веков — и иметь при этом «свой персональный, небольшой Интернационал», упорно стучаться с ним в прошлое, ища там не утраченное время, а «критерии добра» и справедливости.

Фоняковское прошлое — понятие не однозначное. Это и Марк Аврелий, и Муций Сцевола, и, конечно же, декабристы в Сибири. Они такие, какими бы хотелось видеть их нам: «дворяне, книжники, птенцы лейб-гвардии полков растили хлеб и огурцы, лечили мужиков. С чалдоном в бричке примостясь, под мерный шум колес беседу вел Волконский-князь о ценах на овес. Внушали сыновьям своим: «не презирай труда! И с высоты светила им Полярная звезда».

Образ Полярной звезды здесь — не аксессуар обстановки, а награда поэту за неустанные поиски выразительности образов. Они и позволяют ему творить эти «обычнейшие чудеса, простое волшебство», которыми полны его стихи.

Обычнейшие чудеса,
Простое волшебство:
Мой лоб, мой взгляд, мои глаза
У сына моего!
Душа — своя, судьба — своя,
Всего не передашь,
Но точно так же, как и я,
Он держит карандаш.
Вот он спускается во двор,
Проходит по двору,
Кричит приятелю:
«Бобер!»..
Нет, весь я не умру.

Как тонко, по-фоняковски точно и ненавязчиво трансформируется тут и в других стихах одна из вечных тем русской поэзии — пушкинская. И вымолвить-то жутко — пушкинская, но это она, она родная!

Как ты жила до Пушкина, Россия?
Не понимаю, что ни говори!
А ведь жила: косцы траву косили,
Попы молились, правили цари.

Шла высока, пряма и синеглаза,
Привычной ношей оттягчив плечо, —
Красавица, которая ни разу
Не поглядела в зеркало еще!

О книге Ильи Фонякова писать удобно. Не надо рвать стихи на цитаты. Они настолько лаконичны и афористичны, что их всегда можно привести полностью и это не отягчит стиль. Они органичны, как живой организм и историчны, как сама жизнь. «Нет бога у меня. Такое дело. А как, бывало, взрослой стать спеша, боготворить и веровать умела при всем «ниспровергательстве» душа! Теперь иные наступили годы: любя, и понимая, и ценя — живу без бога. Трудная свобода и неуют. Нет бога у меня». Вот как органичны, конфликтны, личны и историчны стихи рецензируемого поэта. Они дают нам, читателям, прочный запас мудрости.

Еще не все сказать «люблю»
Проселку, полю, ржи,
Ромашке, в небе — журавлю,
Березке у межи.
Не раз — историю спроси! —
На роковой черте
Заветным именем Руси
Клялись и те, и те.
Умирают с двух сторон бойцы.
Упав, средь росных трав,
К одной и той же с двух сторон
Березоньке припав...

Такая философичность, раздумчивость. Поэзия Фонякова чурается гладкописи, которая ей противопоказана больше всего. По сути своей поэт внутреннего драматизма, философского по-

стижения времени и человека. Вот строки, которые, по-моему, характерны для лирического строя поэта, миниатюра «Новатор».

Суровый, дерзкий, прямодушный,
Сын века самый непослушный.
И —
самый на него
похожий...
Но это выяснится позже!

А надо обогнать время и понять сейчас, сегодня, чтобы не упустить во времени главное. И поэт работает как мастеровой, шлифуя галерею своих славных современников — людей трудного века.

Слепой солдат пришел с войны,
Лицо — ожог сплошной.
Но был, как был, он для жены
И милый, и родной.
Навстречу бросилась с крыльца,
Склонилась перед ним...
Растет мальчишка — весь в отца,
В красивого,
каким
Ушел на фронт!
И неспроста
В миру идет молва:
Не умирает красота,
Когда Любовь — жива!

Здесь, как и везде, не просто видение мира, не просто фиксация его лучших примет, а суд над миром. Поэт судит все: мир, себя, детство свое. И во всем, что подвергнуто этому поэтически-гражданскому суду, видна, как бы сказал сам поэт, рука мастера, «львиной лапы четкий след». Он, этот след, придает поэзии Фонякова свое внутреннее движение, благодаря чему стих живет и обращает стихотворные чудеса в поэтические открытия. Вот когда убеждаешься еще раз вместе с поэтом в мысли «какое счастье — понимать» себя, время, человека в нем. Именно при таком понимании весна становится не зеленой прозой, а «цветной, звуковой, панорамной», впрочем, как и мир, окружающий нас. Вместе со стихами мы открываем его заново. И себя — тоже.

Давно те пройдены поля,
Но помню, как сейчас:
О, как близка была земля —
Почти у самых глаз.
Какие трещинки на ней,
Какие бугорки!
Какие бродят средь камней
Жучки и паучки!
Песок рассыпчат и горяч
И пахнет, как миндаль,
И улетает пестрый мяч
В немыслимую даль.

Здесь понятие «дали» не случайно. Это движение человека во времени, это движение из детства в юность, в ту счастливую пору, когда «все книги были обо мне». И только после этой романтики приходит к человеку зрелость, когда мир видится уже по-иному более реально, но по-прежнему мудро!

Будь начеку, смотри востро,
Иначе — погоришь,
Когда недоброму добро
Однажды сотворишь.
Он будет ненависть к тебе
Жестокую питать.
За то, что вынужден к тебе
Признательность питать.
Ему ведь это тяжело,
Как на плечах гора.
Тебе простить бы мог он зло,
Но не простит добра.

И вот еще о чем нельзя не сказать, рецензируя эту емкую книгу поэта. Это, видимо, будет относиться уже к области его творческого поведения (что за поэт без него!). Фоняков много и охотно переводит. В этой работе толмача он не раб оригинала и не соперник поэта, нет: он ученик Поэзии. Переводы, помимо обогащения братских литератур, в том числе и алтайской, шлифуют видение и арсенал самого мастера. Иначе где бы он взял такую емкость и афористичность, если бы не прошел через горнило поэта из Йемена Али абн Заида и, к примеру, алтайцев Аржана Адарова, Лазаря Кокышева, Бориса Укачина и Шатры Шатинова. Вот она эта школа, она в его оригинальных четверостишиях без рифм, которых в книге столько, что о них надо было бы говорить особо.

Из окна, сквозь сетку акаций,
Голоса вдруг плеснулись в полночь.
Я прислушался: веселятся
Или, может, зовут на помощь?

Многие четверостишия от самого поэта, а это — благоприобретенное — оно от опыта других литератур и, возможно, от алтайской поэзии, которой он отдал столько времени и сил, что переводы были изданы отдельной книгой.

Горный Алтай дал нашему другу вдохновение с того лета, когда он с латышом Имантом Зиедонисом впервые появился в наших горах. Не тогда ли он уловил так хорошо суть алтайского национального характера, выраженного в стихотворении «Горская легенда» о красивой и строптивой дочери сурового отца, которая кинулась с обрыва в пропасть, убежав из-под венца?

Жизнь с немилым да постылым —
То не жизнь, а тихий ад.
«Ну, а вы, вы так могли бы?» —
Старожилы говорят.
И показывают место,
Где с горы уже века
В белом платье, как невеста,
Вниз кидается река...

Еще более хорошо показан образ сегодняшнего алтайца в стихотворении «Если темная сила нагрянет».

— Пускай полезут, — мне сказал
Пастух алтайских гор,
Как только с ним я завязал
Тот самый разговор. —

Да я хоть стар, — таков закон:
Помру, но отстою!
Да я на каждом из окон
Поставлю по ружью!..

Ружье в наш век — почти смешно:
На уток в камыше?!
Но как-то стало все равно
Спокойней на душе.

В данном случае Фоняков увидел нашего современника «со стороны» так, как не увидели его мы сами... Спасибо!

Много параллелей и пересечений с Горным Алтаем есть в книге нашего друга. В стихах о море он оттолкнулся от Л. Кокышева, от его одноименного стихотворенья, а в «Паровозе» пересекся со стихами Укачина о коне... Но не в этом дело. Пользуясь случаем, я бы хотел выразить И. Фонякову большое чувство благодарности за его неутомимую переводческую работу, которая поднимает радугу алтайской поэзии все выше и выше — на всесоюзный горизонт — до «звезды полей» русской поэзии. А это не мало!

К этому же можно добавить: удачи его переводческой работы мы, алтайцы, видим, помимо вышесказанного, в том, что он не переводит поэзию с одного языка на другой — это невозможно. Он воссоздает образом образ, будучи очень внимательным к оригиналу. Не потому ль в его переводах мы видим не издержки, а автора и переводчика, которые — повторяю — не соперничают, а являются друзьями по сверхзадаче? Вот отчего почти каждый перевод Фонякова с алтайского — исключение из стандарта переводов и всякий почти раз исключение это во многом соответствует подлиннику в своем самом главном отношении — идейно-эстетическом. Таков, например, один из последних переводов стихотворений Б. Укачина из цикла «Эхо вечного Алтая».

В чаще сияющей,
Мрак разгоняющий,
Голодного насыщающий,
Силы усталому возвращающий,
Ярче, огонь, гори —
Маленькое, ручное
Солнце мое земное!

Мерзлое размягчающий,
Сырое в съедобное превращающий
Сердце мое согревающий,
Лицо мое озаряющий,
Ярче, огонь, гори —
Маленькое, ручное
Солнце мое земное!

Перевод этот передает суть и алтайского художественного мышления и поэтического мира Б. Укачина, который не так уж близок к фоняковскому. Тем дороже удача.

Дочитав эту удивительно емкую книжку стихов Фонякова, действительно обогащаешься, ибо чувствуешь, «какое счастье — понимать, и мука — понимать. Как будто разом на плечах полмира поднимать!»

Они-то и наводят на мысль не просто о поэте, а о его творческом поведении, вдохновении. И если поверить поэту, что вдохновение — это «особый род спокойствия души», то книга эта написана вдохновенно. Тем она и удалась.

Открывая сборник, я увидел на фотографии поэта у моря, у того, видимо, самого, о котором его друг, казахский поэт, сказал, что оно как степь. Закрывая книгу, я по-новому вижу нашего друга Илью Фонякова. Он не поэт у моря, а сеятель на миру, разбрасывающий поэзию горстями по земле. По той самой, которая становится тем больше, чем выше ты поднимаешься над ней.

ДИАЛОГ С ДРУГОМ

(Алтайская страница творчества Н. Рубцова)

О друзьях не пишут некрологи, о друзьях вспоминают... Особенно когда ты на их родине. «Вокруг любви непобедимой к селам, к соснам, ягодам Руси» незримо вращалась и до обидного рано кончилась жизнь одного из талантливых русских поэтов Николая Рубцова.

Впрочем, так говорить не совсем верно: жизнь Рубцова не кончилась, она продолжается. И для нас, алтайцев, он вовсе не Николай, а Коля. В наших глазах он навсегда остался таким, каким мы увидели его в день первого знакомства: нежным, талантливым, ранимым, удивительно скромным.

...Хорошо помнится тот прохладный московский солнечный день 1965 года и твои стихи — теплые, доходчивые, несмотря на глубокий поэтический подтекст. Доходчивыми они были еще и потому, что ты исполнял их сам под гитару.

Одно из стихотворений запомнилось особенно, ибо оно давало нам, горцам, чувство русского Севера, связанное почти с физическим ощущением чистоты:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Мать моя возьмет ведро
Молча принесет воды...
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет беспокойный день.
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе.
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе.

Пел ты, помнится, тогда — редкий случай — много и охотно. Шли часы первого дня знакомства, шел разговор о поэзии и жизни и мы, глядя на тебя, дивились. Поражало все: и стихи, полные взрывчатой тишины, и судьба твоя, не знающая покоя, но имеющая точный адрес истока — Вологодчину.

Рубцов удивил нас, алтайцев. До этого мы знали только одного поэта — Артура Рембо, — который бросил стихи и ушел в плавание. И тут нечто противоположное — моряк, оставивший морскую стихию ради другой, не менее увлекательной и опасной стихии — поэзии. И вот теперь не просто суша, не просто литинститут имени Горького, а поэтические плавания и возвращения. И что любопытно — звезды своего вдохновения Николай Рубцов зажигал не где-то там нам над Южным крестом или мысом Доброй надежды, а над дорогими и нам, алтайцам, полями России. Он уже тогда провидел «на чем поднималась великая Русь» и пел об этом во весь свой не звонкий, но такой впечатляющий голос, голос, называющий вещи именами, добивающийся дойти во всем до сути, похожий на некрасовский, есенинский и все же неповторимый его голос — рубцовский, говорящий не о чем-то, а о Руси и россиянах с непоколебимой убежденностью, гордостью.

Острова свои обогреваем
И живем без лишнего добра,
Но всегда с огнем и урожаем
С колыбельной песней до утра.

Кто-то сказал тогда, что Рубцов элегичен, полон покоя. Николаю это не понравилось. Он нахмурил брови и яростно вступил в спор. Как сейчас помню твои слова, брошенные в лицо эстетствующего поэта.

—Что вы за поэты такие? О чем вы пишете и как? Клянетесь в любви, а сами равнодушны. Да-да; равнодушны. Оторвались от деревни и не пришли к городу. А у меня есть своя тема, данная от рождения, деревенская. Понятно? Я пишу о ней, как Лермонтов о родине. И не лепите ко мне идиллии. Это совсем не то, неужели не понимаете?

И выдал стихи:

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Светятся светлые, светятся чудные,
Слышится шум полыньи...

Были пути мои трудные, трудные,—
Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается, —
Сам я улыбчив и рад,
Трудное, трудное все забывается, —
Светлые звезды горят!

Кто мне сказал, что угрюмо и ветренно
Чахнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...

На прощание ты снял со стены своей комнаты портрет американца Э. Хэмингуэя и подарил мне с щедрым пожеланием «испытать все радости, которые испытал Хэмингуэй». Даже в пожелании ты был поэтом. Ты любил свою Вологодчину больше всего на свете, но поэзия не давала сидеть дома. Ты был легок на подъем, много путешествовал, но «самую смертную связь» чувствовал всегда со скромными звездами родного Севера, с его июльскими деньками, которые «идут в нетленной синенькой рубашке». Я знал об этом и тем неожиданнее был сюрприз. В 1966 году, открыв дверь на звонок, я увидел Николая.

— Ты?..

— Я!

— Какими судьбами?

— По Хэмингуэю соскучился и его друзьям.

— Старик...

Мы обнялись.

Потом были поездки по области. Особенно понравился Николаю Шебалинский район, село Эликманар, где он жил несколько дней, беседуя с красавицей Катунью. Я думал, что он просто отдыхает, просто созерцает красоту, а он писал, работал в присущем ему тематическом ключе, связанном с основной его творческой сверхзадачей, выраженной в словах: «Россия, Русь, храни себя, храни».

Все это я понял позднее, читая стихотворение «Катунь», опубликованное в сборнике «Зеленые цветы». Стихотворение изображает Горный Алтай в историческом плане, в плане его недалекого прошлого.

Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мне горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,
Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...
Катунь, Катунь — свирепая река!
Поет она таинственные мифы
О том, как шли таинственные скифы,
Они топтали эти берега!
И Чингиз-хана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала.
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...
Все поглотил столетний темный зев!..
И все в просторе сказочно лучистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом —
Она не может успокоить гнев!
В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные аилы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы;
И только слышно как шумит Катунь...

Такая взрывчатая тишина живет в его стихах. Верно отмечает критика, что Рубцов принадлежит к числу поэтов, живописующих словом. Его любимая палитра близка к есенинской. Он как Куинджи. Нет ни одного стихотворения, где бы не было пейзажа. Ленинградцы увидели в его стихах этюды, написанные маслом, этюды, где всем цветам предпочтен желтый цвет. Почему это так — это еще предстоит объяснить критикам, и первое слово тут, очевидно, скажут вологодские.

Изредка мы обменивались после этой встречи письмами, которые были продолжением московского знакомства и разговором о полюбившемся ему Горном Алтае. И тут-то я понял, что пейзажи для Рубцова не просто география.

Не Вологодчина и не Горный Алтай, а образ Родины определял для него «нравственную меру вещей и явлений». Речь в письмах и стихах шла, как правило, о жизни и только раз она зашла о смерти. Коля писал, что на Родине его душу не трогает беда, а вот за ее пределами он видит «осеннее предчувствие уже далеко не лучших перемен». И я, как бы предчувствуя эту роковую перемену, не раз останавливался на страшном смысле его доверительных стихов:

Пускай меня ва тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня проносит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!

Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребен
В такой же белой горестной рубашке.

Неповторимое случилось... Тебя нет. Ни строчки уже не прибавить к написанному дома и в пути. Никогда уже не придет он больше неожиданно для себя и для друзей на станцию и не возьмет билет на «поезд голубой» и не приедет в Красногорск, в Барнаул, в Горно-Алтайск, не будет уже задушевных бесед, но навсегда есть его стихи, заставляющие нас верить, что

Утром солнышко взойдет —
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?

Никто. И есть великая справедливость в том, что в разных концах страны люди все больше и больше постигают, что такое Рубцов-поэт.

Разное пишут сегодня о тебе, Николай, но думаю, что конец разночтению тебя положил твой славный земляк С. Орлов, написавший о тебе самые вещие слова: «Николай Рубцов... не увлекался красками и возможностями яркого повествования, он раскрывает с естественной простотой дыхания самое главное — традиционную и непреходящую сущность человеческого характера, сложившегося в активном общении с природой российского Севера, унаследованного от предков».

Поистине, это так и только так, думаю я, стоя перед его памятником на кладбище.

Девочка на кладбище играет,
Где кусты лепечут, как в бреду.
Смех ее веселый разбирает,
Безмятежно девочка играет
В этом пышном радостном саду.
Не любуйся этим пышным садом,
Но прими душой, как благодать,
Что такую крошку видишь рядом,
Что под самым грустным нашим взглядом
Все равно ей весело играть!..

Стихам Н. Рубцова уготована долгая жизнь, а это значит, что «самая живучая, самая смертная связь» поэта с миром не оборвалась. Она живет и после его смерти в его чудодейственных стихах, льющихся на мир потоками ясного звездного света. Звездой вологодских полей светит она на небосклоне многонациональной советской поэзии. Свет этот легко падает

и на Алтайские горы, где веткой горного кедра живет своя поэзия, помнящая Николая Рубцова. Вот стихи, которые посвятил ему поэт Борис Укачин. Привожу их полностью.

Эта горькая весть
разминулась со мной.
И провел я весь день
не грустя, не скорбя,
Потому что не знал я,
что шарик земной
Продолжает кружиться —
уже без тебя.
...Благодатного лета
кончалась пора,
И уже, набираясь
для осени сил,
Русским строчкам в горах
подпевали ветра:
«...И архангельский дождик
на меня моросил...»
...Мы росли,
становились умней и
взрослей,
И сближались народы,
сближались края.
По соседству с твоею
«Звездою полей»
«Ветка горного кедра»
качалась моя...
Помнишь: мы по Алтаю
бродили с тобой?
«Что за дивная силища
в этой волне!» —
Ты сказал с Катуни моей голубой.
И не скрою,
что это понравилось мне.
Полюбилась тебе наших
гор тишина.
«Я еще непременно
приеду сюда!..» —
Заверял ты меня, и твоя ли
вина,
Что теперь не приедешь
уже никогда...
И не верится мне, что
с тобою вдвоем,
На земле, где ты голову
гордо носил,
Мы уже никогда — никогда не споем:
«...И архангельский дождик
на меня моросил...»

О друзьях не пишут некрологи, о друзьях вспоминают...

ВОЛОГДА — ГОРНО-АЛТАЙСК.

8 с (Алт)
Ч—721

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе 2
Алтайская поэзия. Проблемы и перспективы . 3
Певец весны своего поколения . . . 14
От сердца к сердцу 31
Моя родина — мои стихи 45
Человек в эпоху человека 59
«Нельзя чтоб человек напрасно жил...» . . 65
И опять дорога впереди 70
«Какое счастье — понимать...» 76
Диалог с другом. (Алтайская страница творчества Н. Рубцова) 82

Валерий Иванович Чичинов

АДРЕС ПОЭЗИИ — ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Редактор С. М. Каташев. Художник В. В. Букачаков. Художественный редактор В. И. Ортонулова. Технический редактор М. Г. Шелепова. Корректор А. А. Чулчушева.

Сдано в набор 28/V 1976 г. Подписано к печати 19/VII 1976 г. Формат 60×84 1/16. Бумага офсет. Усл. п. л. 5. Уч.-изд. л. 5,73. Тираж 3500 экз. Заказ 2362. Цена 42 коп. АН 22789.

Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, г. Горно-Алтайск, ул. Горно-Алтайская, 36. Горно-Алтайская типография, пр. Коммунистический, 27.

А 70202—021 / М 138 (03) 76 91—76

© Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства · 1976 г.

Цена 42 коп.